

ВЗНУМЯ

ISSN 0013-788X

11/2011
ноябрь

Журналу — 80 лет!



Annotation

От автора

В декабре 2010 года в Институте философии РАН прошла международная конференция «Мераб Мамардашвили: вклад в развитие философии и культуры». Я была приглашена на третий день конференции — поделиться воспоминаниями. Не в первый раз я пытаюсь «поделиться»: когда Н.В. Мотрошилова издала книгу «Мераб Мамардашвили», я была на презентации в МГУ и тоже пыталась что-то говорить, хотя давно понимаю: устные воспоминания, «штрихи к портрету» — дело безнадежное. Наши долгие, длиной в тринадцать лет, отношения не уложатся ни в какой регламент, и слушатели — разные. Пять — шесть знакомых лиц, кто-то знал Мераба раньше меня, работал с ним; для тех, кто помоложе, он уже легенда, но участники конференции, вероятно, прочли его книги, может, и лекции слушали в записи, а некоторые просто заскочили наугад — вдруг что-нибудь интересное расскажут? Им еще нужно объяснять, кто я такая, почему я здесь...

Лет десять назад я написала небольшую статью про Мераба для журнала «Искусство кино». Она называлась «Школа невозможного», и позже я включила ее в сборник «Не говори маме», в цикл воспоминаний «Вечера памяти». На тех семи страницах, полных умолчаний и намеков, я пыталась, от самой себя отстраняясь, рассказать о Мерабе — профессоре, лекторе, о его влиянии — несомненном — на тех студентов, аспирантов ВГИКа и слушателей Высших курсов сценаристов и режиссеров, что сбегались в переполненные аудитории, приводили друзей, а иногда записывали на диктофоны его неторопливую речь.

Статья у меня получилась кривая и горбатая, и я тогда же себе обещала — напишу когда-нибудь без регламента — все подряд, все, что помню, поняла или никогда не пойму.

Вот и наступило «когда-нибудь» — пора, пора уже все записать, пока не забылись адреса и даты, и пусть начитанные ученые найдут здесь штрихи к портретам, а прочие, не-ученые, прочтут непрдуманый сюжет для женского романа

•

- [Адреса и даты. Наталия Рязанцева](#)

- [I. Тысяча мелочей](#)

- [II. Последняя кривая](#)

Адреса и даты. Наталия Рязанцева

I. Тысяча мелочей

Я точно помню день, когда мы познакомились с Мерабом. 1973 год. Весна, 23 апреля. В гостях у Саши Пятигорского, на улице Дыбенко, в маленькой квартирке на первом этаже. Мы с мужем — Ильей Авербахом — жили тогда в Ленинграде, но часто приезжали в Москву, «по делам или так погулять». Жили у моих родителей в Ростовском переулке, и было у нас в Москве много-много друзей и просто знакомых, но главной — для Ильи — была встреча с Пятигорским. А у них на Дыбенко не было телефона. Саша с новой женой Элей недавно переселились в чудом подвернувшуюся квартирку на краю света, и к ним хлынули гости. Саша срочно варил «бурятский суп», а мы делали вид, что вкуснее ничего не бывает. Сашу знали все — пол-Москвы плюс ближнее и дальнее зарубежье, о чем вы можете прочесть в книгах Александра Моисеевича Пятигорского, которого уже нет в живых.

А тогда... мы бросали открытку, что будем в Москве тогда-то, Саша звонил откуда-то, что ждет нас вечером тогда-то, и будут еще гости, и в тот апрельский день я почему-то предчувствовала, что будет, наконец, тот самый, неуловимый и загадочный Мераб, о котором Саша говорил много и охотно, даже влюбленно. При каждой встрече разговор перескакивал на неведомого нам грузина (фамилию не запомнить) — «А вот Мераб считает...». Саша всегда расхваливал своих друзей. Уже подумывая об отъезде, хотел всех со всеми познакомить, но это было что-то другое, особенное: «Мераб ненавидит, когда опаздывают, ох мне сейчас достанется...». Саша всегда опаздывал, а они тогда задумали общую книжку — «Три беседы о метатеории сознания», и Мераб ждал его в редакции, чтобы работать. «А разве у нас есть философия? И бывают даже философы?» — спросил как-то Илья у Пятигорского. «Ты не поверишь, но один точно есть — это Мераб Мамардашвили, прирожденный философ, от Бога. Работал в Праге, а теперь в журнале „Вопросы философии“, доктор философских наук, зам. главного», — и Саша так убедительно похихатывал, что мы поверили в такой парадокс. Все бывает в этой безумной стране, чего не может быть никогда. Про эту страну замечу к слову: она уже кончалась, из нее можно было уехать насовсем, хотя бы в Израиль, на наших московских и питерских кухнях «надоело говорить и спорить» и слушать Галича. Кто нацелился уезжать — спешно учили языки, искали международные связи, кто оставался — купили «Жигули», и запретные темы сменились на актуальные — где достать резину? В питерском ресторане «Крыша» в полночь играли фрейлахс, все

пускались в пляс, иные — со слезами на глазах, а дирижер объявлял: «До свидания, товарищи евреи!» Свиданий не предвиделось. Истерика нарастала. И в наших судьбах тоже. Остро предвиделись перемены и вскоре стали сбываться.

Странно, что я не помню, кто был тогда у Саши и Эли, несколько гостей, но видела я и слышала одного Мераба. И себя помню, даже как была одета. В неудобное, в новенькое. Мы приехали из Союза кинематографии и рассказывали, что Союз наш поменял облик, там роскошные двери, красивые таблички, ковры, секретарши и тишина, серьезная госорганизация, хороший хозяин, разумеется, из «органов». И везде — «они» — отставные чекисты, куда их еще девать? Мы отдали дань типичной застольной беседе тех времен — про прослушивание телефонов, про «первые отделы», в общем, про «бойцов невидимого фронта», и по каким приметам их узнавать. Мераб сидел неудобно, не помещался на маленьком диване, говорил мало и неохотно, со всей любезностью «иностранного гостя» похваливал закуски и действительно выглядел иностранным гостем. Отшучивался на серьезные вопросы какой-то любознательной дамы, а когда вдруг сказал целый монолог с «полным ртом дикции» — совсем мне не понравился. Нет, не легкий грузинский акцент, это было привлекательно, но — интонации, повышение к концу фразы, какое-то вкрадчивое, даже кокетливое, совершенно французское. Что Мераб хорошо знает французский и итальянский, бывал в этих странах и на досуге общается с иностранцами на их языках — мы уже слышали от Пятигорского, но у меня было предубеждение против французской речи вообще; насколько завораживали их песни и кино «новой волны», настолько смешно было в мужских устах слышать эти женственные хвостики фраз. То ли «французик из Бордо» застрял из школьной программы, то ли режиссер Сергей Юткевич, щеголявший французскими словечками, — тайна предков, откуда в нас берется эта «индивидуальная непереносимость», но к концу той напряженной вечеринки я поняла, что «грузин европейского разлива» мне не понравился. То есть «грузинство» в нем — понравилось, а «европейство» — нет. Мы возвращались домой в одном такси. Илья и Мераб сидели сзади, а я рядом с шофером, и между нами барахтался щенок, совсем маленький, испуганный, писклявый. Шофер подобрал его где-то и вез домой. Я взяла его на колени, и он притих. Мужчины беседовали о чем-то важном, а я даже не прислушивалась. Шофер опасался, что щенок на меня пописает, и выдал какую-то тряпку. Щенок так и сделал в конце концов, слегка обрызгал мое новое пальто. Была весенняя светлая ночь, и было беспричинно весело, как в юности, как будто бы что-то

хорошее произошло. Нет, он мне не понравился, но я в него влюбилась.

Это я позже пойму. А дату — 23 апреля — запомнила потому, что в кармане нового пальто лежали квитанции из ателье, из особого «совминовского» ателье, где лучший мастер из лучшего матерьяла сшил мне точно по картинке это дорогое модное пальто, про которое мой муж Илья в тот же вечер сказал: «Все равно в нем есть какая-то советская тупость, не шей там больше». Я и не шила, ни до ни после, а пальто это несносимое перемещалось со мной еще лет двадцать, из шкафа в шкаф, по разным адресам: Ростовская набережная, Подрезова улица в Ленинграде, Неопалимовский переулок, Кировский (теперь Каменноостровский) проспект, Звездный бульвар. Побывало оно и в Тбилиси, и в разных республиках, нелюбимое, но «знаковое», говорящее пальто с документом от 23 апреля.

Про тот безумный год лучше бы рассказывать в третьем лице. Неужели это была я? Недаром у нас с Авербахом было любимое, вдвойне любимое, сообща любимое — Ходасевича: «Я, я, я — что за дикое слово, неужели вон тот — это я?»... Со стороны наша жизнь показалась бы вполне благополучной. Летом мы забились в тишайший эстонский городок Синди, чтобы работать над сценарием, из которого впоследствии вылупился фильм «Чужие письма». Илья злился, что я без конца переписываю начало, и придумывал, как мы будем пробивать его через инстанции. Злился на советский автосервис — мы год как купили машину, и она все время ломалась. Однако в сентябре мы отправились на машине в Болгарию и вернулись совершенно измученные. В дороге старались не ссориться, но любовь убывала вместе с «прекрасной эпохой», когда с милым рай и в шалаше, и можно не смотреть телевизор, не читать передовиц и жить, «под собою не чуя страны». Мужчины так не могут. Илья хворал, поскольку не снимал кино, сценарий не приняли, деньги кончались, приятели питерские разъезжались один за другим, а тут еще назрел ремонт в нашей тесной квартирке. Было ясно, что мы уже никогда не переедем в Москву, как мечтали. Свекровь старилась и собиралась на пенсию, взаимное раздражение копилось, стучало в висках, хорошее воспитание не допускало открытого конфликта... Словом, я в ту зиму сломалась. Помню, как это было, но здесь не место подробностям. Я переселилась в гостиницу, никого не могла видеть и спать не могла, ни таблетки не помогали, ни крейсер «Аврора» — вид из окна. О Мерабе не вспоминала. Мы с ним пересеклись как-то осенью у Пятигорского. Сидели в кухне, Мераб рассказывал про отца, которого только что хоронил в Тбилиси. Я узнала, что он до войны жил в Ленинграде, когда отец

учился в военной академии, но совсем ничего не помнит, вообще почти не помнит своего детства. Он спешил домой, кто-то должен был к нему прийти на ночь глядя. Саша велел нам обменяться телефонами, он уже нигде не работал, начались его предотъездные хлопоты и тысяча поручений — что-то кому-то передать, позвонить, книги переправить с друзьями... Мераб оставил свой рабочий телефон журнала «Вопросы философии», но с предупреждением — «если я там еще буду».

Весной 74-го, в начале апреля, я решила съехать из Питера, насовсем. О разводе речь не шла, но — «нам надо пожить отдельно» — в этом удалось убедить Илью. Письменно — разговаривать спокойно мы уже не умели. В последнюю ночь, уложив чемоданы, я излагала по пунктам десятков причин «тяжелого нервного истощения» и обещала в Москве съездить к знакомому психиатру. Родителей пришлось потеснить — они уже переехали в двухкомнатную квартиру в Неопалимовском переулке — и немного приврать, что я не уживаюсь со свекровью. Второй вариант сценария студия готова была принять, с поправками, чтобы «пробить» его через Госкино, когда главные злодеи уйдут в отпуск — так что мне еще предстояло изобретать «проходимый» текст. Я всегда была под подозрением у начальства, особенно после «Долгих проводов» Киры Муратовой. Три картины лежали «на полке», а сколько сценариев — уже не сосчитать. Однако — Москва! — все лечит, веселый, бесшабашный город, родной к тому же. Здесь друзья, есть кому излить душу, и найдется какая-нибудь работка, чтобы прокормиться. Я повстречалась с друзьями, выбросила таблетки и позволила себе спиртное, в общем, пришла в движение и кое-как обустроила свою комнату. Пятигорскому была послана, как всегда, открытка, но он не отзывался. «Может, Саша уже уехал?» — причитал Илья по телефону. Так бывало, люди ждали разрешения годами, а потом им давали три дня на сборы. Позвонила общим знакомым, никого не застала и вспомнила про Мераба. Его и в знакомых трудно было числить. Вспомнит ли он вообще, когда я назовусь — по имени или по фамилии? Я сидела у телефона целое утро в каком-то ступоре. Казалось бы, что стоит взрослой деловой женщине позвонить случайному знакомому на работу с конкретным вопросом? Нет, то был поступок. С колотящимся сердцем я набрала номер «Вопросов философии». «Конечно, помню, — сказал Мераб, — как хорошо, что вы меня застали, случайно, меня уже тут нет, сдаю дела, собираю бумаги. И можно без отчества...» — я услышала, что он обрадовался, и мы обменялись какими-то шутками по поводу его трудно произносимого отчества и фамилии, Мераб Константинович

Мамардашвили и что Саша Пятигорский упорно пишет «Мераб» через «и». — «Нет, Саша еще здесь, в ожидании, я как раз в воскресенье к нему собирался. Поехали вместе?». Мы долго уговаривались о времени и месте свидания. Днем, у метро «Парк Культуры»-кольцевая. По дыханию в трубке было ясно, что он понял двусмысленность моего звонка, и я поняла, что он понял и улыбается, и сама улыбалась, вспомнив, что я еще женщина, а вокруг весна, и этой московской весной обязательно «что-нибудь произойдет». А уж как улыбался Саша, когда мы явились к нему вдвоем! Как фокусник, которому фокус удался. Будто он все это задумал и предвидел — даже мой звонок в журнал, угодивший в цель. Совершенно не помню, о чем мы болтали на закате, там окна выходили в чисто поле, и был ослепительный, не городской закат. Мераб рассказывал, что его «ушли» из журнала с почетом, с благодарностью за труды, даже дали в награду путевку в хороший санаторий в Форос. Я расспрашивала про их беседы о метатеории сознания, брошюрка вышла в Тартуском университете, и на бумаге авторы выглядели как и в жизни: Саша вопрошал, темпераментно и доступно для профанов, Мераб только отвечал и все запутывал профессорской лексикой. Но суть я понимала и понимала, что книжку здесь не издадут — уехавших сразу вычеркивали, даже в кино — убрали из титров. Толстую рукопись Пятигорского про Будду Шакьямуни, заказанную издательством «Прометей», так и не издали. А мы, помню, читали и дивились — когда он успевает писать? У него столько хлопот — дети, заработки, встречи, гости, переписка. Он отвечал — «на ходу». А Мерабу советовал: «Надо вести скучную жизнь. Когда ты станешь вести, наконец, скучную жизнь?». Как можно писать на ходу, Мераб тоже не понимал, но объяснил точно: «Одни люди думают всегда, а другие никогда». Но это я узнала много позже, когда он готовился к лекциям в троллейбусе. А тогда мы возвращались в такси, не поздно, и Мераб предложил заехать сначала к нему, попить вина или чаю. Я сказала честно — «хотелось бы, но не могу». Но гораздо больше хотела, чем не могла. Решая эту задачку, запуталась в наших переулках, я еще не привыкла к Неопалимовскому и не сразу узнала свой дом, и Мераб от души хохотал. И повторил приглашение, когда подъехали к крыльцу: «Может, все-таки поедем, еще ведь не поздно?». Таксист мог наблюдать типичную сценку — «грузин и блондинка». «У меня еще нет ключа, а родители рано ложатся». На самом деле два застенчивых, не очень молодых человека сообщили друг другу почти без слов, что он не такой грузин, что сразу тащит в постель блондинку, а я не такая пьяная, чтобы звонить родителям и врать, что заночую у подружки. Изящный

вышел разговор, просто французский — консьержка выглядывала из своей дежурки и открыла мне дверь без звонка. Договорились о встрече в ближайшие дни.

Я поняла, что это всерьез и надолго, что недаром целый год во мне тлела эта легкая ненавязчивая влюбленность — на восьмой год тесной и утомительной семейной жизни с кем не случается? Пять минут счастья и какого-то детского самодовольства сменились полным ужасом. Позвонил Илья из Питера, сказал, что обдумал мое послание и наконец-то меня понял, что они с мамой как-то справляются с хозяйством, он сидит на диете, на кашах, подлечит свой живот, и в мае мы поедем в Пицунду, он уже заказал путевки. И конечно, спрашивал про Сашу и узнал, что я только что была на улице Дыбенко, и там был еще и Мераб. Утаила, разумеется, что мы приехали туда вдвоем. Начиналось время большого вранья.

Врать я не люблю — да кто ж это любит? — но умею. С высоты своих немолодых лет задаюсь вопросом — почему мне судьба послала это испытание, именно мне, такой честной? Учительница говорила — «она не умеет врать, у нее все на лице написано», а я уже врала ей, и другим, и особенно родителям. Я всегда была «под надзором» и мечтала о своем уголке, где можно спрятаться и ни перед кем не отчитываться. Собственно, это и привело наш счастливый брак с Авербахом к полному тупику.

У Мераба я нашла, во-первых, — убежище. В его комнате на Донской было уютно, тихо и красиво. Соседская комната была заперта, но — «сталинский» дом, шкафы в огромной прихожей, высокие потолки, мусоропровод в просторной кухне. Сосед отбывал срок в лагере, за мелкое воровство. Мераб умел жить один, вкусно готовить и неспешно заваривать чай по всем правилам. В его длинной комнате предметы располагались наилучшим образом. Книги на разных языках, затейливая лампа, в которой что-то плавало, меняя цвет, хороший трубочный табак, продуманно расположенные за стеклом бокалы и гжельские чашки с квадратными блюдцами, а главное — несуетливое его передвижение среди всего этого — все напоминало о европейском прошлом и грузинском умении жить со вкусом.

Из вещей необходимых — помню распятие работы Эрнста Неизвестного, несколько его же офортов и красивый натюрморт без рамки, со смещенной перспективой — кого-то из известных современных художников. Поразил меня порядок, несвойственный холостяцкому жилью. Каждая вещь знала свое место и что-то говорила о хозяине. Смущала меня только полуголая негритянка, прикнопленная над диваном, но я стеснялась спросить, зачем этот дешевый постер с оборванными

краями — может, прикрывает пятно на обоях? Или — чей-то подарок?

А когда Мераб рассказал, что эти терракотовые шторы искал целый год и ничего другого не вешал — я поняла, что таков принцип — ничего случайного не заносить в дом, не покупать наспех. Друзья его недаром потом говорили, что он и в Москве умеет устроить себе иностранную жизнь. Он был уже «невъездной». Почему? — я тогда не спрашивала, а версия, которую узнала позже, сомнительна: прокатился с итальянскими друзьями из Италии в Париж, к французским друзьям без визы, кто-то застучал, кто-то стукнул, и его отозвали из Праги. Коммунист, но какой-то «не свой», вышел из доверия. Его успешная карьера порушилась самым естественным образом, и он это понимал и не очень горевал, представить его при высоких официальных должностях невозможно. Он и лекций никаких в тот год не читал, и это его удручало. Но он никогда не жаловался, говорил, что живет прекрасно, а загадывать ничего нельзя, все равно жизнь повернет не туда, надо научиться жить «здесь и сейчас». А здесь и сейчас, то есть «там и тогда», нам было очень хорошо. Мы весело перешли на «ты» и закрылись дня на три от всего мира, даже штор не открывали, к телефону не подходили и питались его домашним мацони.

«Жизнь всегда присылает вовремя нужного человека» — французский афоризм, с тех пор запомнила. Нам бы на необитаемый остров, но человек — «социальное животное», о чем приходится иногда пожалеть, и мы разъехались в разные стороны и только через месяц встретились на проводах Пятигорских. Мы с Ильей приехали на машине из Ленинграда прямо в Химки. Я боялась встретить там Мераба, и первое, что увидела, — его красную рубашку и лысину. Он сидел на подоконнике и болтал с какой-то дамой. Со двора еще было видно, как она кокетничает, а он вежливо хочет отвяжаться. Такие мизансцены врезаются в память на всю жизнь. Особенно если сердце уходит в пятки — как нам с ним говорить — на «ты» или на «вы»? Был полон дом гостей, уже не первый вечер провожали Пятигорских, едва ли наш «треугольник» кому-нибудь был замечен, но «на воре шапка горит», я избегала Мераба как могла и мучилась, трезвая среди пьяных гостей, поскольку вести машину по Москве предстояло мне. С тех пор вечный вопрос — кто выпьет, а кто сядет за руль — всегда решался в пользу Ильи.

Я стала послушной и чуткой, вечно виноватой женой. Илья и Мераб больше никогда в жизни не встречались.

Первые два года моей московской жизни прошли в непрерывных терзаниях — как бы разрешить эту тягостную

ситуацию, снять с себя грех лжи, объясниться с мужем — и будь что будет. Так поступали порядочные тургеневские женщины, а иные, особо «продвинутые», предавались «любви втроем», что их и прославило. А я не была столь отважной, боялась прямых вопросов и сочиняла, сочиняла легенды — где я была и с кем. Москва разрасталась, мобильных телефонов не было, и путешествия мои по отдаленным друзьям и дачам — Можинка, Переделкино, Черноголовка, Болшево — я носилась по Подмосковью ради алиби, а в конце концов приезжала в убежище на Донской. Однажды примчалась поздним вечером из «Лесных далей» в Малаховку, где он гостил у каких-то отсутствующих приятелей. Едва нашла эту дачу, и Мераб был растроган и потрясен: километров сто по темным дорогам, а он уже и не ждал и вообще не ожидал от меня таких подвигов — ночевать с ним на холодной терраске при участии комаров.... Это была какая-то вежа, потому и запомнился утренний разговор про то, что он бессонницей не страдает, может спать при свете, всегда высыпается. «Значит, нервы в порядке и совесть чиста?» — я спросила. «Если бы, если бы...» — сказал Мераб спросонья, но очень грустно и серьезно. Я не приставала с расспросами, а он очень мало про себя рассказывал. Какие-то отдельные эпизоды, они постепенно укладывались в общий сюжет, очерченный еще Пятигорским. По части личной жизни — я знала, что была у него главная, то есть долгая любовь с женщиной из Риги, много старше его, которая эмигрировала в Израиль с двумя дочерьми, с ним не попрощавшись, и он это болезненно переживал. Позже эта романтическая история обрастет подробностями, а он даже имени ее — Зелма — не называл, только рассказал однажды, что одна его знакомая терпеть не могла песню «Пусть всегда будет солнце», а как только ступила на «родину предков», первое, что услышала, — «Солнечный круг, небо вокруг...». Любая беседа в то время сводилась к рассказам об уехавших, даже забавные подробности обретали трагическую ауру, потому что — навсегда. Позже я достаточно узнаю про весь его любовный и семейный опыт, а тогда поняла только, что это человек глубоко опечаленный, и к формуле Пятигорского «Мераб застенчив, влюбчив и придиричив» можно еще прибавить — и недоверчив, и самолюбив. А что не любит русских и утешается только с иностранками — оказалось преувеличением в типичном «Пятигорском» стиле. К женщинам это вообще не относилось — многих он уважал или жалел и удивлялся, как мы справляемся с тяжким русским бытом, со своими неуравновешенными пьющими мужчинами, да еще и работаем с полной нагрузкой. «Ну а рельсы грузить им можно?» — запомнилось мне, еще не феминистке, как

он отбрил кого-то, считавшего, что не может женщина быть режиссером или писателем. Эти бабы с кувалдами у трамвайных путей, тетки, обвешанные сумками, — я все это стала замечать его «нездешними» глазами.

Мераб слегка бравировал европейским свободомыслием — в вопросе о равноправии полов. Ревность считал варварством и атавизмом и однажды напугал меня, советуя французской приятельнице не заикливаться на ее единственном возлюбленном, а срочно завести в Москве штук пять любовников, пока молодая и красивая. Свобода нравов катилась на нас с Запада в основном путем кино. Счастливики уже посмотрели «Последнее танго в Париже», много шума наделала знаменитая «Эммануэль», «Дневную красавицу» Бунюэля мы страстно обсуждали на семинарах, как и «Молчание», и «Персону» Бергмана; но даже мы, повидавшие виды на закрытых показах, чувствовали себя глубоко отсталыми, провинциальными. Слухи о сексуальной революции ассоциировались с парижскими студенческими волнениями 68-го года, обрастали шутками, анекдотами, поскольку у нас был свой 68-й — наши танки в Праге, и проблемы французской молодежи мало нас волновали. А Мераб успел пожить в Праге, в самом центре Европы, полюбоваться лучшими европейскими городами, и Москва казалась ему безобразным нагромождением несуразной архитектуры, городом абсурда, увешанным транспарантами «Слава КПСС» и «Летайте самолетами „Аэрофлота“!», где волей обстоятельств ему приходится жить «шпионом в чужом государстве». Так он не раз при мне говорил, а я дразнила: «Как штабс-капитан Рыбников? Может, ты японец?» Он знал и помнил эту повесть. «Так чей же ты лазутчик? Может, „вечности заложник у времени в плену“?» Нет, высокопарность позднего Пастернака ему претила, в таких выражениях он не мыслил — ни о себе, ни о мире. Русская литература всегда подставит плечо в разговорах на скользкие темы. А что пристойно и непристойно, почему «они» в своем кино не боятся откровенной эротики, а у нас она под запретом — этот безнадежный вековой спор был тогда особенно актуален, и Мераб решал его, разумеется, в пользу полной свободы художника, режиссера, мог и лекцию прочитать про разницу культурных традиций, про отсутствие у нас языка, чтобы говорить «про это», киноязыка, чтобы показывать «это». Что «это»? Ну, стриптиз, например. Представить себе русский стриптиз было невозможно, да и западный, попадавшийся в кино, отдавал обезьянником. Мераб советовал относиться веселей к телесным радостям, пусть даже и вульгарным, и продажным, а вот душевный стриптиз — презирал, за что и не любил русские

пьяные компании, где все норовят открыть друг другу душу. Для того и пьют, чтоб язык развязался. Он никогда никого не грузил собственными проблемами.

Работа Мераба в Институте истории науки и техники не требовала ежедневного присутствия, раз в неделю он туда ходил, а то и прогуливал, и к своим академическим обязанностям относился небрежно. Думаю, что я ему мешала. А он мне. Мы ходили в гости или принимали гостей. Мы ходили в Дом журналистов и на закрытые просмотры — во французское посольство, в Дом кино. Ездили в Черноголовку к моему другу Юре Осипьяну и к друзьям Мераба в Переделкино.

Мы как будто взяли у жизни отпуск и устроили праздник. Возник Отар Йоселиани, мой старый, еще по институту, товарищ, и они подружились с Мерабом. Уже не тбилисский, еще не французский, в Москве — транзитом, но иногда и подолгу. Отар прекрасно понимал нашу ситуацию, он сам был на распутье, тревожен и утомлен. С ним можно было откровенно, без политкорректности, говорить о «дружбе народов», в частности — о грузинском и русском патриотизме, космополитизме и лицемерии.

Первые признаки «русофобии» только намечались, я и слова такого тогда не слышала. Недовольство или прямая ненависть к «империи зла» объединяла, казалось, интеллигенцию всех республик, особенно тех, кто учился в Москве. Отар, например, учился в мастерской А. Довженко, где были студенты шестнадцати национальностей. И если вечный «еврейский вопрос» сопровождал нас с детства и делил общество, то представить себе «грузинский вопрос» или «украинский вопрос» мне и в голову не приходило. Но это в наивной нашей юности, а в середине семидесятых уже обозначилось, что придется именно русским отвечать за все — от большевиков до ГУЛАГа и до чешского августа 1968-го. Разумеется, мы обсуждали русскую историю с писателями и учеными разных национальностей, и с тем же Мерабом, но никогда в них не было — ни в высоколобых беседах, ни в застольных шутках — национальной нетерпимости. Русские фигурировали в анекдотах, умели и над собой посмеяться и над чукчами: то было время анекдотов, «армянского радио», бардовских песен. Иностранцы любили повеселиться на московских кухнях, но когда один француз в гостях у Мераба невзначай сказал «Пусть это русские едят» — про какую-то случайную еду, может, плавленый сырок, — я встrepенулась. Никто не заметил, я одна там была русская, и я бы никогда не сказала где-нибудь в чуме — «пусть это чукчи едят». Рассказать думала Отару про хамоватого француза и спросить, что они за

глаза про нас говорят. Но услышала, как он рассказывал Мерабу про один непринятый фильм известного режиссера: «Для русских дураков». Так объяснил он успех фильма в узких кругах. А режиссера после просмотра поздравлял и хвалил — при мне это было, на «Мосфильме». Такое невинное лицемерие в кино легко прощалось, и не только грузинам, хотя они, конечно, виртуозы неискренних поздравлений. К Мерабу это не относилось. Когда назначали тамадой, он усердно вспоминал старые грузинские тосты-притчи, а восхвалять каждого из гостей — не его амплуа.

Вообще Мераб был человеком естественным, всегда равным самому себе, никакой позы, никакого образа для себя не изобретавшим. Он не был «веселым и находчивым», кому-то мог показаться ученым занудой, поскольку ни во что не играл, был просто скромным, хорошо воспитанным господином, что называется — комильфо. Если под хорошим воспитанием понимать, как в добрые старые времена, чувство меры, уместности, спокойную доброжелательность к любому встречному. В иностранных компаниях, за светской беседой и умеренной выпивкой, чувствовал себя лучше, чем в наших шумных русско-еврейских посиделках, когда с полоборота вспыхивает спор, и кто-то обязательно напьется, припомнит всем все их грехи, выведет на чистую воду, обидится, хлопнет дверью... Мы не раз, конечно, обсуждали эти темы: культ скандала, эпатажа, сумасшествия или его имитации. Такие уж мы неуравновешенные или русская литература подпортила? «... Вовеки не придет ко мне позорное благоразумие», — написал Маяковский, и учили в школе, и вошло в нас бессознательно. Почему благоразумие — позорно? Что за чушь! Но нужна немалая стойкость ума, чтобы разрушить эти школьные окаменелости. Мераб казался или даже был таким эталоном здравомыслия и равновесия, как, например, Тургенев, не отдавший и пяди своего западничества загадочной русской душе, которую так понимал и любил. Мераб никогда, даже в юности, не писал стихи, не пел (медведь на ухо наступил) и искренне удивлялся сочинителям: как это — вообразить каких-то людей, и они, придуманные, оживают?

И ученого снобизма в нем не замечалось. Он часто напоминал себе и другим: «Я знаю, что я ничего не знаю», — и считал, что каждый человек сам себе философ, даже круглый дурак.

Но почему же именно для «русских дураков»? Пора открыть, что речь шла о кинофильме «Сталкер» Тарковского. Мне он не нравился, но я знала тяжелую историю его создания и помалкивала, но мнение Отара было для меня существенно.

Осталась в памяти царапина от самой этой фразы. «Национальной самоидентификацией» мы были сыты по горло, и публицистику Достоевского давно освоили, и Бердяева (из парижского магазина) прочитали пристрастно, вопрос «почему мы такие?» вышел из читающего подполья в широкие круги «русских дураков», а теперь снова пошел по кругу, но на бытовом уровне даже и малограмотные работяги старались не распускать язык, не унижать национальное достоинство. А что это вообще такое — «национальное достоинство»? Я впервые тогда — нет, не задумалась, а почувствовала на собственной шкуре, что если мы с Мерабом когда-нибудь поссоримся, то я услышу — «вот вы, русские, всегда...».

Но мы не ссорились. Мы даже ухитрились съездить отдохнуть в Ялту, пожить под одной (чужой) крышей дней десять, и помню, как раздражала его квартирная хозяйка — бесцеремонная, болтливая южнорусская дама, и я почему-то чувствовала себя в ответе за всех хабалок славянского происхождения. Мераб обычно отдыхал в Лидзаве, за Пицундой, в небогатом грузинском доме, где хозяйки его боготворили. Сестра его Иза, напротив, ездила в отпуск из Тбилиси на Валдай. В той нашей «империи зла» если и было что хорошее — то привычка народов друг к другу. А мне особенно повезло — много путешествовала в юности, а черноморское побережье Кавказа, от Туапсе до Батуми, освоила еще в детстве, да и в Тбилиси не раз бывала, и по Военно-грузинской дороге ездила, и, будучи москвичкой и русской, не ощущала своих привилегий — ни столичности, ни «титульной нации». А Москва в 70-х стала совсем уж закрытым городом (только «по лимиту» прописывали) и, соответственно, предметом вождения и зависти, а то и ненависти к «москалям». На наших кинематографических всесоюзных семинарах все чаще раздавались голоса протеста — против «большого брата», который всем рулит и рулит безобразно, республики ополчались на русских, голодные русские области — на москвичей, которые «у кормушки». Надо отдать должное Мерабу — он русофобии в те годы не проявлял, с ученой основательностью анализировал качества этой абсурдной империи, где метрополия живет хуже, чем колонии. Тогда он еще не говорил «Зазеркалье», не выписывал из русских авторов забавные проговорки на тему — «нас не любят до Пиренеев...». «Кого это — нас, и почему это нас, то есть — вас, должны любить?». Зацикленность русской мысли на своем, местном — «умом Россию не понять», — ему претила. Собственно философами он никого из русских не признавал, восхищаясь иногда литературными талантами, красотой высказывания. Завидовал, потому что в себе этого не находил,

мучился над словами, понимал, что изъясняется тяжеловесно и длинновато, но не хотел себя адаптировать, предпочитая честность мысли любому «красному словцу» или заемному афоризму. Может, именно поэтому я так дотошно припоминаю первые признаки русофобии. Вот посмотрели мы «Зеркало» Андрея Тарковского. Там есть текст, с цитатой из Пушкина, про то, что Русь спасла Западную Европу от Орды татаро-монгольской. Первое, что заметил Мераб при подробном обсуждении: «А с чего вы взяли, что монголы собирались завоевывать Европу? Никаких свидетельств тому нет. Вот сказал где-то Пушкин, и в школе проходят, как аксиому, и все верят, и ты веришь».

Ну да, разрушать национальные заблуждения, стереотипы нашего сознания — это и я любила, и как раз тогда в моде была запрещенная книжка «Аз и я» Олжаса Сулейменова, изданная в Алма-Ате небольшим тиражом. В Москве она не продавалась, ее привозили из азиатских республик, давали на ночь почитать и горячо обсуждали. Я перечитала «Слово о Полку Игореве», на «Ленфильме» собирались экранизировать «Слово», да вдруг раздумали, расторгли договор со сценаристом А. Червинским и режиссером Г. Панфиловым, опасались, видимо, неверной трактовки национального памятника. Мераб книжечку прочел, что касается «Слова» — одобрил смелые догадки Сулейменова, в остальном же, что касалось шумерской культуры и тюркских корней в русском языке — счел ее курьезной, бездоказательной «прозой поэта», хоть и образованного, но весьма зависимого в суждениях «со своей колокольни». Я вспоминаю случайные моменты вдруг открывшейся мне тогда «русофобии» не потому, что они так уж влияли на наши отношения, на нашу бурную — и по отдельности и вместе жизнь. Нет, это было на обочине, а вспоминается через тридцать с лишним лет, потому что мир трясет от национальных разборок, и десятки «высоколобых», сотни взвинченных шоуменов на миллионах телеэкранов заклинаят упрямое человечество стать хотя бы человеками, а оно не хочет, или не может, или совсем не то, что мы о нем думали.

Мераб часто говорил — «в человеческой фауне», «в нашем зверинце», но меня почему-то резануло выражение «человеческий матерьял». Даже не меня, а одного художника, пришедшего попрощаться перед отъездом во Францию. Его аж передернуло, и я пояснила — «у них так принято», в смысле — у социологов, у философов. Мы этому не обучались, можно сказать, береглись, чтоб ум за разум не заходил от их научного языка. Почитывали, конечно, фантастику, уже и «Солярис» смотрели, и Стругацких читали, и «Собачий мир» Якопетти проник к нам, на закрытые

показы, и шокировал масштабами человеческих джунглей, да и про «кризис гуманизма» в XX веке слышали, но всерьез не вслушивались в скучные ученые выкладки. «Ну, это слишком умозрительно...» — «Это — от головы», типичный припев тех лет, во всех художественных вузах. А я, как всякая влюбленная женщина, невольно и незаметно стала смотреть вокруг глазами Мераба. Допустим, сидишь рядом в кино или в театре — всем, конечно, знакомо это чувство — понравится ли это ему, как мне, или он скучает и скажет — «зачем мы столько времени потратили?». Эта зависимость меня удручала, но продолжалась долго. Запомнилось, как мы ходили на знаменитый спектакль «Взрослая дочь молодого человека» (пьеса В. Славкина, режиссер А. Васильев). Переполненный зал в Театре им. Станиславского, Мераб пыхтит и ерзает — «потому что все это — не существует, эти страсти на пустом месте, на якобы жизни...». Герой там — бывший стилига, пострадавший за свой саксофон и американизм во времена советской кампании против стилиг. Мераба не столько сам спектакль разозлил, сколько его успех у публики: «Подумаешь, трагедия! Из какого-то вздора, из не-жизни, ее советского эрзаца — что может вырасти? Призраки, и всю жизнь он себя жалеет, и публика ревет под саксофон...». Он ненавидел эту русскую сентиментальность, душевность, эти праздники «со слезами на глазах», а жалость к «себе, любимому» презирал от всей души. Но этот спектакль и его монолог относится к более позднему времени — к 80-м годам. А из 70-х помню — пошли они с Эрнстом Неизвестным на Таганку, на спектакль А. Эфроса «Вишневый сад». Алла Демидова пригласила, игравшая главную роль. Мне нравился этот спектакль, я за него болела, ходила на репетиции. Не знаю, что они сказали Алле, вероятно, подошли и поздравили, но мне Мераб доложил, что сильно скучали на этом допотопном психологическом Чехове. Я не спорила, ибо тогда уже понимала, насколько разная у нас «оптика»: культурологический «телескоп», отмечающий взрывные события авангарда на звездной карте всех искусств, или подробный «микроскоп», позволяющий разглядеть малейшие движения души и ума через жест, случайный взгляд, проговоруку. Только кино на это способно, в этом его отличие от прочих искусств. Так что не «человеческий матерьял», а человек в его непредсказуемой сложности меня всегда интересовал, и психологический театр Чехова (Товстоногова, Эфроса) никогда не покажется архаикой.

Мераб много времени проводил в мастерской у Эрнста Неизвестного. Это был тот тревожный год, когда Эрнст решил уехать из страны навсегда, сворачивал свои скульптурные планы и занимался только графикой. Они были знакомы давным-давно,

в студенческие годы, отношения были доверительные, дружеские, но впервые в этой мастерской я увидела Мераба — как бы точнее это назвать? — «младшим по званию».

Эрнст прошел войну и даже штрафбат, он был легендарной личностью, мифологическим героем, сверхчеловеком, если верить всем слухам, гулявшим по Москве после его перепалки с Хрущевым. Он доминировал в любой компании и, по-моему, сам иногда пугался собственного величия — то усиленно сдвигал брови, то щека дергалась. Это был театр одного актера, вынужденного соответствовать предписанной роли, ее масштабу. Он был серьезен и требовал такого же от других. Мне вспоминались командирские строчки Бориса Слуцкого: «Надо думать, а не улыбаться, надо книжки умные читать». До чего же они были разные — Эрнст и Мераб — по психофизическому типу, по всем внешним проявлениям, но Мераба, видимо, завораживала именно эта непохожесть, он любил другое, чем он сам, — в других, и после отъезда Пятигорского он воспринимал отъезд Эрнста как личную утрату. Однако помогал Эрнсту в его сборах, к каким-то иностранцам мы вместе ездили, нужным лишь для того, чтобы перенаправить на Запад художественные ценности. Человек отъезжающий перестает замечать окружающих, он весь — уже там, и не мне судить о том, каким был Эрнст Неизвестный на самом деле, я видела его только в этот период и чувствовала себя как на экзамене — какую отметку он мне выставит? По этому поводу я припомнила Мерабу одну из его любимых фраз: «Человек не для того живет, чтобы вашему величеству понравиться или не понравиться».

Тут приходится вспомнить и про Зиновьева, того самого Александра Зиновьева, что оказался одним из подпольных героев тех лет, когда совершил «поступок» — издал во Франции на русском языке книжку «Зияющие высоты». Все про нее слышали, но мало кто читал. Я бы тоже пренебрегла таким чтением, если бы не Мераб. Помню, как они обсуждали с Эрнстом Неизвестным, чем можно помочь старому приятелю, совсем свихнувшемуся на почве житейских неудач. Они еще не знали, что окажутся персонажами его дремучей «сатиры», а Зиновьев прослышет крутым диссидентом — у тех, кто «слышал, но не читал». Я видела его два раза в жизни. В Переделкине, на чьей-то даче, собралась — с участием Эрнста и Мераба, который мастерски жарил мясо, — старая компания — выпить и закусить по поводу какого-то торжества. Зиновьев только и делал, что обличал врагов — всех этих продажных, за зелеными заборами, так называемых писателей. Классовая борьба в нем постоянно бушевала. Поваяло большевистской маевкой, профи-революционерством, «мелким

бесовством». Он и присутствующих не щадил, задирался, ненавидел всех, кто приспособился к преступной системе, но тут уж молодая его жена Оля смирляла страсти, уводила своего большевика от открытого конфликта. Я оказалась случайным наблюдателем чужой, уже распавшейся компании, и экстремизм Зиновьева ощутила как род психического недуга. Лечить его надо. Меня, как и многих тогда, волновала эта тема: большевизм как врожденная болезнь или приобретенная и как передается? Среди коллег-сценаристов тоже случались Робин Гуды, и фильм шведский мы посмотрели, «Дурное обращение», где герой — норвежский иммигрант, так заиклен на классовой борьбе, что отбирает у богатого шведа «Ягуар» и, в конце концов, попадает в психушку, где проповедует марксистские идеи в смиренной рубашке, и доктора в смятении — опасен ли больной или скандалит, чтобы заметили? Кино почти научное, проблемное, с участием медиков. Европа давно занималась горячими, но вечными темами. Я обсуждала с Мерабом этот фильм в связи с Зиновьевым — он представлялся мне интересным персонажем, мастодонтом коммунистических иллюзий. Немного я встречала людей, всерьез проштудировавших «Капитал» Маркса, кучу марксистской литературы. И Мераб, и Зиновьев были как раз из этого меньшинства — образованные университетские профессора, но были непримиримо разные. И когда Зиновьев был уже на Западе, а мы тут прочитали эти «Высоты», Мераб даже говорить о книге не хотел, сказал: «взбесившаяся бетономешалка». И не стала бы я вспоминать этот дурной, дурно пахнущий сюжет — мало ли у кого «крыша ехала» в ожидании отъезда, — но недавно по каналу «Культура» показали передачу про философов советского времени (руководитель программы Александр Архангельский), и вдруг в заставке — они рядышком, Мамардашвили и Зиновьев, чуть не обнимаются. Я не все передачи видела, обсуждать их не собираюсь, в общем, хорошо, что вспомнили, но — «после смерти нам стоять почти что рядом» — это не про них, они рядом не стояли. Время все перемешало, у времени нет времени разбираться во всем спектре инакомыслия тех времен, а оно было разных сортов. Кто-то негодовал на «новых богатых», которые уже обзавелись иномарками, пока мы тут за сосисками стоим, а кто-то, насмехаясь над «кремлевскими сосисками», уходил в свои котельные и подпольные выставки, не желая служить «Софье Власьевне». Зиновьев рисовал шаржи на своих друзей, злые, как карикатуры из «Крокодила», и ими гордился. Его давно уже нет на свете, и Бог давно простил ему (если простил) его «Зияющие высоты» за искренность, за истинный крик души, обиженной, недооцененной, кристально

честной.

«Ибо не ведают, что творят» — прибавила бы я сейчас, вспоминая, как Мераб реагировал на мои попытки разобраться все-таки с этой книгой-поступком. В психологическом аспекте, даже в психиатрическом. «Меняется ли душа человека за гранью отчаяния?» — «Еще как меняется, и не только за гранью». — «Где она вообще расположена, так называемая душа?» — «Везде. Лишись человек, например, ноги или глаза, или просто когда ботинки жмут — разве душа остается прежней?» — «А бывает ли коллективная душа народа или это глуповатая метафора?».

Те годы, проведенные «под знаком Эрнста» и под большим вопросительным знаком Зиновьева, вспоминаются без умиления: я была уже слишком взрослой и полжизни провела среди людей остроумнейших, а иногда и умнейших, и слегка прикидывалась, задавая студенческие вопросы, чтобы Мераб развернул тему и прочитал для меня лекцию, например, про «эстетическую несовместимость», про механику власти, про «сладострастие аскетизма». У меня были реальные поводы для этих вопросов, либо сценарные, либо житейские, а он импровизировал, и интересно было следить за самим процессом думанья. Это редкая способность — говорить и думать одновременно, пробиваться к конечным выводам с риском не пробиться, а запутаться.

Но теоретизировали мы редко. Моя жизнь была полна событий. Фильм «Чужие письма» был, как ни странно, принят, с оговорками, с поправками, но успех был очевиден, нам предстоял «круг почета». Мы с Ильей ездили в Киргизию, снимались в «Кинопанораме», меня позвали на грузинско-итальянский симпозиум в Пицунду и Тбилиси, потом в Варшаву и наконец — о чудо! — в Париж. Сценаристов редко посылали на Запад, для этого надо было участвовать в международной жизни Союза кинематографии, и я участвовала. Мы принимали какие-то делегации, я приучилась давать интервью и даже произносить тосты. В общем — «минута славы», попала с обочины в «обойму».

Собиралась я в Париж хоть и наспех, но тщательно. И Мераб мне помогал, дал рекомендательные письма к своим знакомым. Еще пару писем, и посылок, и полезных советов я получила от Лилианы Зиновьевны Лунгиной. Еще — «старики», родственники моей свекрови Ратьковы-Рожновы, наезжавшие к нам в Ленинград, рады были меня видеть и в Париже, и в Шартре; и однокурсница Авербаха по медицинскому институту Жанна готова была уделить мне время и рассказать про Галича, которому как врач помогала. С самим Галичем встречаться «не советовали», он уже был врагом номер один, и повидались мы только с его женой Ньюшей, конспиративно, в кафе. Посылку она

передавала дочке, разворачивая каждую вещь, как перед таможней. Казалось — везде «глаза», а может, так и было. Это не считая официальной программы, просмотров, интервью, заказанных для нас экскурсий. И я все это успела за десять дней, должно быть, не спала вообще и вернулась в сладком отупении. У меня не было мечты — «увидеть Париж и умереть», так случайно вышло, что «праздник, который всегда с тобой» оказался удачным, но из вороха цитат о Париже прочней всех засела в голове фраза из «Списка благодетелей» Ю. Олеши: «Моя тень лежит на камнях Европы, — говорит актриса, мечтавшая о Париже, наконец попавшая туда, — а я хочу стоять в очереди и плакать». Я никогда, ни на секунду, не хотела бежать из России, и первая же вылазка на цивилизованный Запад только подтвердила, что «от себя не убежишь», что родина для меня — это русский язык, что в чужом языковом пространстве я буду вечным недорослем и потеряю последние остатки свободы — свободы понимать. Среди всех бесконечных разговоров на эту тему вспоминаются два эпизода с Мерабом. Я познакомила его со своей подругой Ларисой Шепитько, уже известным тогда режиссером. Мы сидели в ресторане Дома кино и говорили по обыкновению про гримасы нашей цензуры (мы с ней сделали экранизацию «Села Степанчикова» Достоевского, сценарий приняли на «Мосфильме», но не запустили, а за «Сотникова» Василя Быкова Лариса сражалась много лет). Но она побывала во многих странах, ее охотно посылали представлять. Слово за слово, что-то про границу, что-то про Грузию — а Лариса училась на одном курсе с Отаром Иоселиани и Георгием Шенгелая, и другом дома у них с Климовым был оператор Юрий Схиртладзе по прозвищу «князь», так что никаких этнических предрассудков, никакого «квасного патриотизма» в нашей болтовне не просматривалось, но едва Мераб что-то стал объяснять про русскую империю времен как раз раннего Достоевского и «Села Степанчикова», темпераментная Лариса вдруг развернулась к нему и напрямик, невпопад: «А вы-то почему не уезжаете? Вы знаете языки, западную философию, обожаете Европу, вам и карты в руки, вы же все равно здесь чужой, в богом проклятой стране, почему вам не уехать?». Мераб несколько растерялся от такого напора. В моих компаниях к нему относились немного настороженно, но почтительно, вопросов ребром не ставили. Ну да, она была «выездная» и «своя», он был «невыездной» и «чужой». Водораздел этот ощущался на каждом шагу. Замечу, кстати, что и Мераб и режиссер Элем Климов, муж Ларисы, были членами КПСС, вступили в одно примерно время, на волне хрущевской оттепели — ради карьеры? Да, чтобы как-то

участвовать, влиять на эту жизнь, была такая иллюзия. В конце семидесятых для нас это значения не имело, а «выездной» и «невыездной» угадывалось даже по костюму. Ларисе я позже объяснила, что у Мераба в Тбилиси есть мать, уже старая, сестра-учительница и дочка Алена учится там в школе. Это в Москве он один и у друзей имеет ласковое прозвище Холостяпа. А тогда он, конечно, не унился до житейских объяснений, но сказал Ларисе, что он отнюдь не князь, а сын офицера советской армии, и прочел целую лекцию про крестьянское чувство своей земли, которую крестьянин не бросит, пока его не прогонят. Вернулись к отмене крепостного права, когда крестьян оторвали от земли, превратили в перекасти-поле, и весь народ полуграмотный, вырванный из своих угодий, сделался зыбкой массой лакеев и пролетариев, постепенно отвыкавших от труда. Программную для Мераба тему, которую он разворачивал на многих страницах, во многих аудиториях, я тут пересказала в двух словах, но помню — Лариса как-то притихла, вдумалась, больше Мераба не задевала и даже цитировала какие-то его слова про крестьянские чувства, когда собиралась ставить «Прощание с Матерой» Распутина и дала почитать сценарий.

К тому времени как Лариса погибла в автокатастрофе, едва начав съемки этой картины, Мераба уже не было в Москве, он уехал в Тбилиси. Об этом его решении я узнала за несколько дней до отъезда. Не знаю до сих пор, насколько оно было добровольным или опять-таки «его ушли». Что там у него старая мама, она болеет, и надо им с Изой как-то реально помогать — так он объяснил свое решение. Дочь его Алена уже училась в Москве, в университете, уже успела выйти замуж, к большой досаде Мераба, — зять ему не нравился, он считал, что это ненадолго. Московскую комнату на Донской ему удалось сохранить, перевод в Грузинский институт философии считался командировкой. Я понимала, что это навсегда. Поплакала — не при нем, конечно. Он и так был измучен и уже не храбрился, ворчал. На Донской появился после отсидки сосед Женя, жена его хозяйничала и мечтала разменять квартиру, а тут еще и зубы — курс лечения и протезирования, предотъездные хлопоты... Помню, он привез целый мешок кассет — там была и классика в красивых футлярах, и французские песенки — Азнавура, Монтана, Пиаф, и я сказала, что они и без слов всем понятны, в них всегда слышна грусть о том, что любовь кончается, всякой любви приходит свой конец. Они до сих пор у меня хранятся — здесь, на Звездном бульваре. Ко времени его отъезда я уже жила здесь, в своей — первый раз в жизни — квартире. Обрела долгожданную независимость. Этому предшествовал долгий

изнурительный ремонт. Я носилась по Москве за рабочими, за мешками раствора, за плиткой, сантехникой, кирпичами, лампами. Кто помнит те времена — поймет. Круглосуточная работа. Лучший рабочий Советского Союза — Павел, вершивший мою «перестройку», ухмылялся, мол, не женское это дело, мужики-то на что? Презирал втихаря интеллигенцию. Много мужиков — хороших и разных, и совсем негодяев, и верных рыцарей, и смешных мечтателей — повстречала я во время того строительного марафона. «Своих» я не тревожила. Помогали подруги, друзья выручали деньгами, полезными советами. Илья наезжал в Москву по делам и удивлялся моему усердию. С Мерабом виделась совсем редко. Как-то я привела его в Дом кино на веселый фильм, а сама убежала — то ли вить свое гнездо, то ли сражаться с гаишниками, снявшими номера с моей усталой ржавой ослицы. Мне никто не был нужен. Я огрубела. Хождение «в народ» не прошло даром. Отмывая свою квартирку после ремонта, я с тоской размышляла о будущем. Мне бы только отоспаться и в ударные сроки сочинить сценарий — договорный — по мотивам своего ремонта. Я одна, так мне и надо, может, так мне на роду написано. А может, надо попытаться как-то склеивать семью?

Поэтому, наверно, прощание с Мерабом оказалось каким-то хладнокровным, хоть и суетливым. Провожали его Сенокосовы — Юра и Лена Немировская, верные его друзья, и дочь Алена, и Отар вдруг прибежал и потом проводил меня домой, и мы с ним долго беседовали про Мераба, про Грузию и вообще про жизнь. В этом была какая-то завершенность. Отар с его строгим лицом и покровительственным, отеческим тоном почему-то всегда возникал в моей жизни в самые тяжкие, поворотные моменты. Утешал, прояснял, излечивал, хотя случайно я попадалась на его пути. И исчезал, как колдун из сказки.

Вот сейчас, из другого века, насчитала пять таких случаев. Пойду посмотрю, на месте ли черный камень с двумя дырочками, который он мне подарил в октябре 1968 года, в Болшеве, и велел беречь, не терять. Давно порвался тот шнурок, на котором я его носила, а оберег мой на месте, вот он. И Отар недавно приезжал с премьерой своего нового, обаятельного, как все его кино, очень личного, ностальгического фильма «Шантрапа». Мы виделись в галерее Нащокина, пили вино. Отар рассказывал про Мераба какие-то забавные истории. За столом, в кулуарах. А для публики, его поклонников и поклонниц, любителей кино — вспомнил про режиссера Илью Авербаха, сказал несколько добрых слов. В этом фильме успел сняться — в маленьком эпизоде — Александр Моисеевич Пятигорский. И внезапно умер, недоиграв свою роль.

Отар оставил, не вырезал этот маленький случайный эпизодик — на память о друге. Я предавалась воспоминаниям вместе с этим фильмом. Однажды в 80-х, уже здесь, на Звездном бульваре, раздался утром звонок из Парижа. Отар и Саша, сильно навеселе, звонили прямо из монтажной, где Отар как раз в ту ночь закончил фильм «Охота на бабочек», показал Пятигорскому, по этому поводу они и пили до рассвета и решили кому-нибудь позвонить, поделиться радостью. У меня был Мераб, он едва проснулся, собирался на лекцию. Останавливался он всегда у Сенокосовых, но иногда ночевал у меня. Я поскорее передала ему трубку и не слышала, о чем они долго разговаривали с Сашей. Застала фразу: «Ну вот, я вышел на последнюю прямую...». Мне стало его очень жалко — ему бы сейчас с ними прогуляться по весеннему Парижу, а надо брести к троллейбусу и обдумывать, что он скажет, когда включит диктофон. И радоваться, что его еще приглашают на курс лекций. Он всегда был, мягко говоря, стеснен в средствах. Мечтал о персональном компьютере, как дети мечтают о коньках. В те времена «загнивающего застоя» у нас на Высших курсах, где он читал лекции, еще и ксерокса не было. Где-то они были, в каких-то организациях, а у нас размножать сомнительные тексты не полагалось. Референты в нашем СК в конце дня сдавали пишущие машинки под замок, в первый отдел. «Охранка» не стеснялась, комсомол жировал, теневой бизнес процветал в республиках, на улицах появились «иномарки», счастливики привозили компьютеры из зарубежных командировок, а полки магазинов пустели, и запретная книжка «Доживет ли Россия до 1984 года?» гуляла по рукам. И знаменитый анекдот про листовки: поймали расклещика листовок и велели показать, что за антисоветчину там пишут, а бумажки оказались пустые. «А чего писать, — объяснил расклещик, — все и так все понимают».

Грустная «последняя прямая», от которой тогда сжималось сердце, оказалась вовсе не прямой, а весьма кривой.

Одиночество. С Ильей мы жили в разных городах в состоянии полуразвода, у него был роман с польской актрисой Эвой Шиккульской, и это почти не скрывалось, и однажды он предложил официально развестись, и я сказала — пожалуйста, присылай документы. Ждала, но он их так и не прислал. Стал навещать на Звездный бульвар, полюбил эту квартирку «ручной работы» и после долгих раздумий решил снять мой сценарий «Голос». Мы опять вместе работали, переделывали «под него» третий вариант. Я приезжала в Питер, на пробы, Илья — в Москву, на пленум, или транзитом, за границу. Чемоданы, билеты, проводы на «Красную стрелу», встречи нужные и не очень — много в

жизни всякой суеты, которая спасает. Но я уже придумала и сочиняла понемногу свой самый длинный и самый близкий к личному опыту сценарий — «Дом друзей и друзья дома». Про то, как все все понимают, но молчат. Про семейную пару ученых, двадцать лет прожившую в состоянии полуразвода, и наконец устроившую свое гнездо в научном городке и пригласившую друзей на новоселье как раз, когда решили развестись. То ли юбилей свадьбы, то ли «по любви поминки» — друзья постепенно открывают эту тайну, но всем уже все равно, по какому поводу напиться, у всех своих забот полно, да и друзья ли — бывшие друзья?

Сценарий так и не поставили, замотали по инстанциям, хотя были режиссеры, были варианты, а потом — время ушло! Теперь он напечатан в моем сборнике «Голос». Один из вариантов начинался со сцены в магазине «Тысяча мелочей». Там моя ученая героиня накупила столько хозтоваров, что пришлось купить еще и коромысло, повесить на него сумки-пакеты и в таком, вполне крестьянском виде, проследовать в свой подмосковный научный городок. Эти ярко-голубые коромысла долго продавались в «Тысяче мелочей» на Ленинском проспекте. В сценарии все четыре ученые подруги-героини по-разному тащили на плечах каждая свое «коромысло» и не роптали. Долгая и безнадежная возня с этим сценарием, как теперь понимаю, была неслучайной. Она меня спасала от собственных проблем. Переплавлять приключения своей души в занимательную трагикомедию про таких знакомых и понятных мне современниц — трудно, мало кому удавалось. Главный «заказчик» с телевиденья, хороня сценарий, обобщил: «У вас тут не хватает светлой слезы. Зритель любит светлую слезу». Тут, надо признать, он был прав. Я уже не плакала «над вымыслом». Превращать трагедии в «человеческие комедии» учила жизнь, и возраст, и Мераб, перенастроивший мою оптику с «микроскопа» на «телескоп». И не только мою.

II. Последняя кривая

Вскоре после отъезда в Тбилиси его позвали в Москву читать лекции. Теперь он стал «гостем столицы», в большой квартире Лены Немировской и Юры Сенокосова была для него комнатка и праздничный обед. Или ужин. Собирались гости — на Мераба — его знакомые, друзья Сенокосовых, иногда и мои. Часто нас — всех вместе — звали на приемы к итальянцам, французам. Многих помню, но всех не перечислить. Свои охраняемые дома и квартиры они называли «гетто». Как-то я спросила — «А вы представляете, как бы вы тут жили без охраны, что бы с вашими красивыми машинами сделали?» Научила стишку — «моя милиция меня бережет». Жаловались, что хотят посмотреть страну, а разрешение на выезд из Москвы получить трудно.

Мераб тем временем приобщался к кинематографу уже и помимо меня. В Тбилиси подружился со сценаристом Эрлом Ахвледiani, с режиссером Михаилом Кабахидзе. Читал лекции на Высших курсах сценаристов и режиссеров, дебютанты показывали ему свои работы. Иван Дыховичный, у которого мы не раз бывали в гостях вместе с В. Валущим и А. Демидовой, ушел с «Таганки», учился на режиссерских курсах, слушал лекции Мераба. С моими друзьями — Машей и Андреем Хржановскими, с Людмилой Голубкиной — он давно был знаком. На курсах Андрей показал свои картины, Мерабу они понравились, а это уже совсем другое знакомство. Широкая известность «в узких кругах» ценилась дороже, чем «всенародное признание». Например, Людмила Петрушевская давно писала, но ее не печатали, и когда был ее первый творческий вечер в ВТО — нас не пустили, хотя у нас были билеты — зал переполнен, «висят на люстрах». Когда мы с ней познакомились на семинаре в Дубулты и она услышала про Мераба, тут же среагировала — «Тот самый Мамардашвили? Ой, позовите в гости, Боря слушал его лекции...». Так Люся с мужем Борей Павловым стали бывать у меня. Я тоже старалась — когда Мераб приезжал — устроить ужин, созвать гостей. Люся одноактные пьесы читала...

Разбирая фотографии тех времен, вспомнила, кто бывал у меня в гостях в те годы. Вот Ирина Поволоцкая, режиссер, теперь и писательница, мы с ней делали «Аленький цветочек» на студии им. Горького. Вот Игорь Виноградов, нынче главный редактор «Континента», и жена его Нина. К ним меня Мераб когда-то привел. А вот певица и художница Манана Менабде. Как ни странно, хоть она и знала пол-Грузии, с Мерабом я ее познакомилась, привела к Сенокосовым, она украшала наши вечера

грузинским пением, приглашала на свои концерты в Дом архитекторов. А вот и Мариолина — Мария Дория де Дзулиани, венецианка, славистка, журналистка, переводчица. Тогда она преподавала русскую литературу в университете в Болонье. Часто бывала в Москве, и дом ее в Венеции был открыт для многих — разных — русских. С ней мы познакомились еще на Донской у Мераба, потом виделись у Виноградовых, с которыми она дружила, и мы с ней как-то легко поняли друг друга. Мне повезло: «Хочешь, хочешь — я пришлю приглашение?» Не верилось, что можно поехать просто в гости — в Италию, да еще в Венецию. Сначала я записалась в туристическую кинематографическую группу, мы путешествовали от Милана до Рима, и в Венеции провели несколько дней, и Мариолина показывала мне свой родной город во всей красе. И прислала приглашение. Но прежде чем я решусь к ней поехать, Илья побывал на Венецианском фестивале с нашей картиной «Голос» и получил лестное предложение снять — для Италии — документальный фильм про Ленинград — Петроград — Петербург. Итальянское телевидение заказало цикл фильмов «Культурные столицы Европы» режиссерам игрового кино.

Осенью 83-го я отправилась к Мариолине в гости и провела целый месяц в ее прекрасном доме. Там все дома немного качаются, и вот меня до сих пор качает, когда вспомню ту осень. Как моряка на берегу.

В ту осень 83-го — напомним для тех, кого тогда еще не было — наши сбили по ошибке корейский самолет. наших возненавидел весь цивилизованный мир. Итальянские грузчики, например, отказались обслуживать самолеты «Аэрофлота». Мариолина каждое утро разворачивала газету и подпрыгивала: «Тарковский остался!», «Любимов остался!» Ее знакомые всерьез предупреждали — а вдруг эта «сеньора русса» (то есть я) тоже не захочет возвращаться, что тогда делать? Мариолина возила меня в гости в разные богатые поместья, я и сама съездила в Милан к знакомым, и с кинофестивалем мне повезло — членом жюри был Глеб Панфилов, они с Инной Чуриковой показывали вне конкурса свой фильм «Васса», я бывала на просмотрах и приемах, хлебнула «сладкой жизни» до полного изнеможения. Ни на секунду не забывая, что я — из «империи зла». Газеты принесли новость, что пропал бесследно журналист Олег Битов — то ли его выкрали, то ли сам убежал, бросив вещи в гостинице. При уличных знакомствах я дважды скрывала, что я из Москвы, представлялась «суоми» с плохим английским, чтоб не шарахались, как от прокаженной. В светских гостиных ко мне проявляли глубокое сочувствие, особенно те, кто побывал в России: «У вас такая

богатая страна, такие добрые люди, ну почему же вы так плохо живете?» Мариолина терпеливо просвещала «своих», что не все русские — коммунисты и агенты КГБ, а мне открывала тайны капиталистической экономики и особенности деловой жизни Италии. И чисто венецианские проблемы. Я была полной «чукчей» в этих вопросах, но бедной родственницей себя почти не чувствовала, поскольку в Москве могла быть полезна Мариолине, а она часто приезжала. Вот фотография — мы с ней на выставке в фойе Союза кинематографистов. Снимал Микола Гнисяк. Да это и была его выставка — его фотографий. Но это позже — уже в «горбачевские» времена. Мариолина тоже приводила своего фотографа, из журнала «Панорама», он приехал снимать ночную московскую жизнь, которой тогда не было, вот мы и смеемся — Мариолина, я и Манана Менабде — в моей тесной прихожей.

Но не хочу забежать вперед. Начало 80-х — самый странный, необъяснимый период моей жизни — столько всего и всякого уместилось в ту пятилетку! Я наконец поехала в Англию с туристической группой. Отделилась от группы и встретилась с Пятигорскими, побывала у них в «деревне» Льюишим, у Саши в институте. Потом он показывал мне «свой» Лондон, он любил и знал архитектуру, но первый же вопрос, что мы обсудили наедине, — «Как там наш бедный Мераб?». «Ворчит, — сказала я, — устал делать вид, что можно прекрасно жить в нашем Зазеркалье. В лекциях у него — о чем бы ни читал — это прорывается. Переступает черту...». Я редко бывала на его лекциях, но все их читала в машинописном виде или слушала с кассет. Однажды взялась расшифровывать, но просидела весь день за машинкой и больше не бралась за такую работу. У меня своих дел хватало в те годы непрерывного кочевья. Илья получил наконец квартиру на Кировском проспекте, и вот я уже, как опытный прораб, руковожу ремонтом, живу и отмываюсь в чужой квартире, у Беломлинских. Отдыхать мы вырывались на две недели в деревню Комкино, в Тверской области, на Шлинском водохранилище. Илья признавал только деревенский отдых — по грибы, по ягоды, а за остальными продуктами ездили в Бологое, а там — хоть шаром покати, только с черного хода удавалось хоть что-нибудь раздобыть. Зато киношники, купившие дома в округе, коптили рыбу на ольховых веточках, так что с голоду никто не помирал. Жили весело, и мы почему-то в дороге никогда не ссорились. Я съездила в Пицунду осенью, Мераб отдыхал тогда в Лидзаве, и мы каждый день встречались — то у меня, то у него. Мне уже было неважно — кто что скажет (или подумает) про нас. Избегала неловких ситуаций, но никаких моральных терзаний больше не испытывала. Как будто существовал негласный уговор

— никто не принадлежит никому. У Ильи были ключи от московской квартиры, но он всегда предупреждал о своем приезде. Я не всегда его встречала, но всегда провожала — то на вокзал, то в аэропорт. И свекровь Ксения Владимировна стала ездить во Францию к родственникам, тоже встречи-проводы. Тут у меня был какой-то перевалочный пункт. Илья ездил в Грецию, в Германию, в Таджикистан, в Киев — всего не упомнишь, я ездила в Братиславу на фестиваль, в Болгарию — в 82-м, тоже на фестиваль «За мир и дружбу на Балканах» (вот-вот грянет Югославская война), мы вместе ездили в Армению, в Дилижан, гостили в Ереване, а пятидесятилетие Ильи справляли в Литве, в прекрасном доме у моря, недалеко от Клайпеды. А еще семинары, разные дома творчества, мы с Павлом Финном стали руководить объединением молодых сценаристов, это отнимало уйму времени. А для любви — когда Мераб приезжал — времени почти не оставалось. Но это были праздники, или у Сенокосовых или у меня. «Людоеда людоед приглашает на обед», — такая была присказка. Грузинские и итальянские блюда он когда-то сам научил меня готовить, и в те, уже голодные, времена я неплохо кормила гостей. Мариолина покупала русские книги в валютном магазине «Березка» и спрашивала «что тебе купить?». Я скромно выбрала книжку Похлебкина «Национальные кухни наших народов». Замечательная, кстати, кулинарная книга, но однажды Мераб и Отар Иоселиани были у меня в гостях, и, не успела я похвалиться, что знаю теперь все про чихиртму, — они повертели в руках новенького Похлебкина и отбросили с омерзением как какую-то жабу. «Что такое — наших народов? Все, значит, ваши?» А я и не заметила, что само название — неполиткорректное.

Однажды я решила проводить Мераба в аэропорт «Домодедово». И сбилась с пути, перепутала шоссе. Он не водил машину, ехал, как в такси — «извозчик знает дорогу», отвлекал меня разговорами. А времени было в обрез. Мы опаздывали, долго блуждали под какими-то мостами в потемках. И опоздали — регистрация кончилась. Он долго стоял — весь какой-то сутулый, придавленный — в очереди — переоформить билет. Я проклинала себя за все.

Встала вместо него, чтобы он посидел. Как он ненавидел очереди! Но снова встал, и мы молчали, чтобы не поссориться. Мне еще нужно было придумать легенду — для родителей — почему я к ним не заехала, как обещала, где меня носит поздним вечером?

Наконец билет был переделан — на другой день, с большим штрафом за опоздание, и мы пошли к телефону. Тоже очередь. Я сказала: «Звони, я пока обдумаю легенду». Мераб вдруг сказал: «А

может, хватит уже легенд, полетели со мной в Тбилиси?». Я онемела. Я даже не смогла произнести — «И что? Что я там буду делать?». Среагировала, как на глупую шутку. Мне бы лет восемь назад такое приглашение — типа предложения совместной жизни... Мы вернулись за полночь, молчаливо дулись друг на друга и утром поссорились — первый и единственный раз. Почему-то про Бунина зашел разговор, про антоновские яблоки. «Эти ваши антоновские яблоки, воспетые Буниным, ведь кислятина...». Я что-то говорила, что теперь и бунинских нет, Мичурин их скрещивал и перепортил, а про себя перелистывала те немногие, редкие моменты нашей долгой уже связи, которые можно было принять за приглашение-предложение. Их было два или три, и в первый год, когда хотелось бежать с ним на край света, я все-таки предпочла отшутиться от того осторожного разговора — не стать ли мне его «экономкой». В тот дурацкий день, когда он не улетел из «Домодедова» и мы повздорили на почве бунинских яблок, я окончательно поняла, что внутренний голос и первый взгляд не подвели. Это Мераб считал, что «первый взгляд» определяет все дальнейшие отношения, он никогда не вымывается из памяти. Еще он воспитал во мне «самостояние», которое очень ценил вообще в людях и редко находил. А любовь и дружба — не для того, чтобы терзать друг друга на общей территории, а только — всего-навсего — для любви и дружбы. Мы и не терзали. Мы не омрачали любовь и дружбу мелкими обидами и упреками, копили про себя. Через несколько лет, в совсем плохое время, я стану с трудом припоминать, пересчитывать те ожоги и царапины, что походя наносили мы друг другу. Не все припомню, но получится — мы квиты.

Вдруг вспомнила, почему именно Бунин с его яблоками нарушил в тот день простую конвенцию «о любви и дружбе».

Когда-то, в незапамятные времена, Мераб, обложившись словарями, учил испанский и греческий. Я спрашивала — зачем тебе еще и эти? Французский, итальянский, английский, немецкий — нет, на немецком он не говорил, только читал Канта в оригинале, но еще ведь и русский после грузинского. Ну одновременно. Полиглоты меня всегда изумляли. Прежде чем зайти в психологические дебри сравнительной лингвистики я, конечно, вспомнила про Бунина. Что он неважно знал французский. Говорил, но это стоило усилий, а добиться совершенства не мог и мечтать, он и русский свой не считал совершенным. Его мучила бесконечность, неисчерпаемость языка. Да и сам Набоков тщательно готовился к английским интервью, предпочитал отвечать письменно. Все писатели подвержены этой сладкой пытке — родным языком.

Что Мераб может — на худой конец — что-нибудь переводить — это подразумевалось, но не для того он упорно учил языки, не для заработка, а для чего? Я допытывалась: «Это же так скучно, долго, и никогда его не будешь знать, как родной». «Зато это дополнительные органы чувств», — сказал Мераб подумавши. А что, разве этих мало? — думала я про себя, разглядывая греческие буквы потусторонним взглядом. — Мне поубавить бы.

А после сорока они сами как-то незаметно поубавились — мои растрепанные чувства, и я уже могла обойтись без Мераба и вообще без любви.

С Ильей мы были сотрудники, соучастники, и если не виделись, то переписывались, перезванивались, ругались — на двадцатом году законного брака — до слез, моих, и его горячих извинений. Я, помню, исповедалась близкой подруге: «Вот когда уже ни общей постели, ни общего хозяйства, а расстаться все равно невозможно — это и есть любовь».

Недаром в кино так много семейных команд. Сближает общая война и тот «предбанник» Госкино, где все глотали успокоительные таблетки перед дубовыми дверями начальства. Но в 80-х Авербах уже стал маститым режиссером, руководил объединением в отсутствие Хейфица, его любили или побаивались, друзья-сценаристы (и я в их числе) писали для него сценарии. Съездил в Италию — монтировал свой фильм про Ленинград. Предложили совместную продукцию с Мексикой, как не соблазниться такой командировкой? А он был болен. Илья всегда хворал, когда не снимал кино, возил с собой кучу лекарств, и как-то привычно было: нарушил диету — приступ, день отлежался — и вперед! Но когда вернулся из Мексики — я в аэропорту его не узнала издали: худой, мертвецки бледный старик толкал ногой к контролю свой багаж. И не нужна была ему та картина, и мексиканцы со своими жгучими застольями его утомляли, но — путешествие! «То, о чем мы так долго мечтали». Мы еще в Алма-Ату летали вместе, на выездной пленум с бешбармаком и водкой. Вернулись едва живые, но другая мечта сбывалась — разрешили «Белую гвардию» Булгакова. Илья мечтал ее снять, побросал все наши сценарии и сел срочно писать экранизацию. Лови момент — потом не дадут. Лечение отложили на осень. Уже не приняли сценарий, в Москве засомневались, что им нужен Булгаков, тем более с Авербахом, тем более с Киевом, где любимые его белогвардейцы собирались в последний поход... Началась позиционная война, варианты, уступки. В октябре мы отправились в Карловы Вары в санаторий, подлечиться перед долгой работой. Серьезный приступ начался еще в дороге. Недельку Илья пролежал под капельницей, и что дело совсем худо

— я догадывалась по глазам чешских врачей. Они уже, видимо, все понимали.

Не стану рассказывать про ту страшную осень 1985-го, что я провела в 6-й клинике на Щукинской. В основном в реанимации. Илье сделали две операции, но спасти его было невозможно. У него был рак — самый плохой, какой только бывает. Кто видел, как умирают от рака — поймет. Он умер 11 января 86-го года. Приехали питерцы, повезли хоронить — на «Ленфильм», потом на кладбище в Комарово. От мамы его Ксении Владимировны я скрывала, что он умирает. И вообще в Ленинграде мало кто знал, что на самом деле происходит. Помогали мне тут московские друзья и просто знакомые, много оказалось отзывчивых людей. Я была в невменяемом состоянии — прощание в Москве, панихида на студии, потом в Комарово, поминки на Кировском, где недавно мы справляли новоселье... Максуд Ибрагимбеков с женой Анной пригласили меня в Баку, в загородный дом, отдохнуть, сменить обстановку. Заботились, как о больной. Надо было снова жить. Нагружать себя обязательными, неотложными делами, чтобы не думать. Я ездила в Казань выступать в Доме молодежи. Три раза в день в переполненном зале я отвечала на вопросы про наше кино. Это был последний год «нашего кино», когда благодарные киноклубовцы им еще интересовались. Перестройка набирала обороты, начиналось время большого хаоса. Вскоре грянул Чернобыль.

Разумеется, с Мерабом мы не виделись почти полгода и встретились весной, почему-то на улице, пошли по лужам к гостинице «Космос» повидаться с Мариолиной, которая улетала из очередной командировки — в то «горбачевское» время ей часто заказывали статьи про Россию, она брала интервью у писателей, у знаменитых и забытых московских старух. Европейские журналы возрадовались нашей «гласности» резвей, чем мы тут, в голодной промозглой Москве. А Мераб, такой добрый, участливый ко мне — стал вдруг всем-всем нужен: большое интервью для журнала «Огонек» — это почетно, это значило, что лед тронулся, философы стали всем нужны, не только студентам творческих вузов, где каждый «сам себе гений», а всем, широкой публике, что толпилась у «Московских новостей», жадно слушала теледебаты, раскупала журналы с запрещенными прежде произведениями, ждала «пророка в своем отечестве». Мераба приглашали на телевидение. Однажды он даже председательствовал на каком-то сборище интеллектуалов. Выглядел хорошо, но несколько скованно в этом амплуа. У «минуты славы» есть своя коварная изнанка, и я это уже понимала. Средства массовой информации быстрого изготовления всегда все перевирают, у них работа такая

— выдернуть из долгих речей разных умников две-три цитатки, превратить в афоризм, в «слоган». Почему-то лозунги в те времена стали называться слоганами. А «круглые столы» неизбежно упирались в проблему «интеллигенция и власть».

Но я радовалась за Мераба. Грузинские философы уже приняты были самим Шеварднадзе, который успел прославиться тем, что разрешил Тенгизу Абуладзе снимать «Покаяние». Весь следующий — 87-й год — пройдет под знаком «Покаяния» — закрытые просмотры, диспуты, потом в Тбилиси Всесоюзный кинофестиваль, где Мераб был членом жюри.

Но попробую по порядку вспомнить те годы нашего всеобщего политдурмана, хотя — какой там порядок — события громоздились и не давали опомниться. Вот идем мы с Сенокосовыми весенним вечером в концерт, в консерваторию. Лена говорит: «Надо пораньше вернуться, послушать голоса», — и лица у них какие-то «не такие», не первомайские. «А что?». Я еще не слышала про Чернобыль, даже названия такого не знала. Слухи расплзались один страшней другого. Конец света — или не конец? Масштабы трагедии физики оценивали по-разному, лирики вспомнили цитату из Библии про черную полынь-траву. Мне было где узнать про радиацию. В 6-ю клинику, где умирал Илья, привезли «ликвидаторов», и Ангелина Константиновна Гуськова, крупнейший специалист по лучевой болезни, не хотела, конечно, по телефону: там же у них все засекречено, но я поехала к ней, поймала ее где-то на бегу и что могла узнала. И про нашествие добровольцев она мне рассказала: к ним потянулись люди, просились санитарками, донорами, кем угодно — причастность к всенародному бедствию сближает, как война. Такой народ — пока гром не грянет, не дозовешься. К ним в отделение и раньше привозили со всего Союза облучившихся больных. Так что доктора жили в другом измерении — без апокалиптического пафоса, без паники... А мой вечный конец света уже наступил — в той самой клинике на Щукинской, в том самом 1986-м.

В мае 1986-го произошел наш знаменитый кинематографический съезд в Кремле. Глоток свободы, первые демократические выборы — такое многоактное представление длиной в два дня, что запомнилось на всю жизнь...

Но не стану рассказывать, я ведь пишу историю любви. Не всякая любовная история так зависит от общей — истории страны, но нашу — не хотелось признаваться — ни описать, ни понять без исторического фона невозможно. Горбачевское время многих поманило, раздражило вольностью речей. И я не исключение, много заседала, голосовала как член правления

Союза, да и все тогда заседали по любому поводу, рвали друг у друга микрофон. Демократы устраивали свои сходки у нас на Васильевской. Посыпались приглашения в разные страны на фестивали, ретроспективы, особенно нам, авторам «полочных» фильмов. Иностранцы и иностранки толпами ломились на наши, прежде немыслимые мероприятия. Не стоит жалеть о потраченном времени, но ораторы стали все чаще повторяться. Я думала — что я тут делаю? Почти ничего от меня не зависит, и не лучше ли «посидеть у тихой речки», но сама включенность в общее дело, в исторический, как показалось, процесс — завораживает.

Мераб втягивался в общее дело естественно и охотно, не замечая усталости. Его звали то на какой-то симпозиум в Литву, то в какую-то летнюю школу политиков, то к социологам, то прочесть лекцию в МГУ, то, наконец, во Францию. Он стал «выездным». Наконец-то. Саша Пятигорский по такому случаю приехал из Лондона в Париж с ним повидаться. Не вспомнить теперь, в каком порядке все это было — наши встречи и расставания; еще и фильм снимал известный французский документалист Крис Маркер — про истоки европейской цивилизации, хотел непременно побывать в Грузии, и его переводчица и помощница Анни Эпельбуан обращалась ко мне в поисках оператора. Помню, как обсуждался этот эпизод с самим Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. Предполагалось, что два степенных профессора взберутся по каким-то античным развалинам, рассказывая про Древнюю Грецию и древний Кавказ, а снимет их прекрасный оператор Леван Пааташвили. Этот эпизод не вошел в картину, но я его видела. Или приснилось? Мераба много снимали. Например, в Шереметьеве на семинаре творческой молодежи он читал лекции под прицелом телекамеры. Я там была, приглядывала за творческой молодежью. После лекции его обступали плотным кольцом любознательные, в основном девушки с блокнотами, с микрофонами, его увозили администраторы, а я уходила в другую сторону разбираться с очередным скандалом — творческая молодежь проносила бутылки, иногда и опохмелялась с утра. А был уже сухой закон, наш «как бы сухой закон». Почему-то всем, и непьющим, тогда хотелось выпить. И закусить «на халяву». Немного осталось кинодокументов от той нашей шумной жизни, все куда-то бесследно исчезало. Фильмы, сделанные после его смерти, как ни старались авторы, мало что о нем говорят.

Осенью 1986-го я приехала к Мерабу в Лидзаву. Он снял две комнаты у своих грузинских хозяев, встретил меня на вокзале в Гаграх, и мы чудесно отдыхали среди роз и созревающего

винограда, ходили на немногочисленный пляж — мимо тяжелых, всегда запертых ворот военной части. Советской военной части. Где-нибудь на базаре или в кафе изредка можно было встретить русского солдата. Деревня — рыбный совхоз — на глазах превращалась в красивый курортный городок, с двухэтажными каменными домами. Их строили для себя грузины, богатые и именитые, кто еще мог себе такое позволить? Местные жители поглядывали с завистью, но войны ничто не предвещало.

Мераб любил розы — больше всех цветов, виноград и персики — больше всех фруктов, любил солнце и желтый цвет, любил заплывать далеко в море. Я любила Абхазию — с детства знала эти места лучше, чем Подмоскowie. Рядом с нами жила веселая молодая компания москвичей и питерцев, по вечерам они пили вино и пели, и нас приглашали как почетных гостей. Конечно, они Мераба не читали, но что-то про него слышали, и вот он сам, живой Мамардашвили, отдыхает «дикарем» за стенкой... Так раскручивается настоящая подпольная слава. Приезжали к нам гости из Пицунды, и мы туда ездили. Откуда ни возьмись появлялись на пляже какие-то знакомые, обсуждали острые вопросы современности, а в общем — мы блаженствовали. Я понемногу дописывала очередной сценарий, Мераб сидел в беседке и читал Шатобриана. Однажды сказал: «Хочу уйти в монастырь». В первый раз это прозвучало как шутка, я даже расспрашивала, какой он выберет — католический, православный или сразу в Тибет, к буддистам? Но потом он не раз развивал эту тему, и помню — когда уже совсем всерьез повторил мечтательно, что на самом-то деле его место в монастыре, я спросила: «Может, уже и пора?». Рассказала, как мы ходили когда-то в Новом Афоне на Иверскую гору к монаху-отшельнику, очень сильное детское впечатление. Нет, монастырь ему виделся другой — комфортабельный, европейский, но, конечно, в горах. «Рановато еще, доживу до восьмидесяти лет, и тогда....». Он в самом деле верил, что доживет до восьмидесяти.

Такие разговоры всегда сползают к шуткам. Недавно слышала, как Михаил Жванецкий отвечал на вопрос про старость: «Хочется, чтобы все оставили в покое... но не оставляли своим вниманием...». Как будто я это сказала — году в 87-м, Мерабу, почти теми же словами. Почетные обязанности уже превосходили его возможности. Эльдар Шенгелая позвал его в жюри кинофестиваля, они отсматривали заранее все представленные фильмы. Помню, он позвонил мне в Москву, посмотрев «Долгие проводы». Хвалил, удивлялся, что фильм столько лет лежал «на полке». Нас с Кирой Муратовой позвали на фестиваль. Что главный приз получит «Покаяние», всем было ясно. Грузия была

самой кинематографической из республик, все знали и любили грузинское кино. Фестиваль затевался на широкую ногу — с приемами, экскурсиями и вечерами памяти — Авербаха, Тарковского, Герасимова. Я представляла там Питер — привезла фотографии Ильи, кадры из фильмов, но немного и Одессу с «Долгими проводами», а от Мераба старалась держаться подальше — ведь он в жюри, а мы в конкурсе. По разные стороны праздничных столов и поминальных. Близкие знакомые понимали двусмысленность моего положения, кто-то сочувствовал, кто-то, должно быть, посмеивался. Хотелось забиться в угол и постепенно осознать, привыкнуть к новому ракурсу: Мераб на общем плане, совсем отдельный от меня человек, вот он поднимается с тостом в гостях у Эльдара, ему внимают... Однажды в суматохе фестиваля я позвонила ему домой — всего-навсего узнать, придет ли он на очередной прием. Сестра его Иза ответила, что он прилег, утром лекцию читал и вообще плохо себя чувствует, и нельзя ему бегать повсюду, куда приглашают, не надо его дергать. Я сто раз пожалела об этом звонке. Я забывала про его больное сердце. Он и сам забывал.

В ту осень я опять приехала в Лидзаву, но об этом неприятно и как-то стыдно вспоминать. Я напросилась. Сенокосовы и Мераб взяли путевки в наш дом творчества в Пицунде, он был уже не столько «наш», а больше грузинский. А я не успела, в бархатный сезон надо заранее заказывать, и попросила снять мне жилье в Лидзаве, и поселилась у той же хозяйки, где год назад мы так славно отдыхали. Все бы хорошо, но с Мерабом мы почти не виделись. Пару раз они приезжали всей компанией, возили меня на званый обед в богатый дом в Гаграх, но все это как бы по долгу старой дружбы. Нет, обижаться мне было не на что, но я отбывала там свой срок с тяжелым чувством, что сама напросилась. И возраст — предельный для женщин, скоро сорок девять, часто и лучших жен бросают жестоко именно в этом возрасте. А мне, ненадежной любовнице, не на что роптать. Все я понимала, но — как заклинило, отделаться от этих мыслей не могла. Воспоминания о любви растут и множатся, когда ее теряешь: вот в прошлом году еще была, а в этом — нет. И теперь ничего от меня не зависит. Надо научиться просто дружить, а не получится — расстаться друзьями.

Я не научилась — каюсь. Мы еще много раз встречались. Я приезжала в Тбилиси на международный конгресс женщин-кинематографистов, нам показывали Грузию, возили даже в Алазанскую долину, но я иногда отрывалась от общества, шла к Мерабу. Вот мы с ним и с Инной Чуриковой поднимаемся по крутой улице, идем в гости к Зейнаб Боцвадзе — актрисе, что

играла в «Покаянии». У нее — несколько важных деловых мужчин, все рады познакомиться с Мерабом, все про него слышали. Про политику говорить избегают, то ли при нас — русских женщинах, то ли между собой? Предгрозовая обстановка ощущалась в том нашем всемирном празднестве: одни еще обожали Шеварднадзе, другие ненавидели, народ терпеливо бедствовал, и многие подумывали об отъезде.

Еще помню Мераба в МГУ, в огромной аудитории. Приехала с ним к десяти утра, а мест уже нет, на лестницах сидят. Он читал лекцию про Декарта. Человек триста — с блокнотами, с диктофонами — слушали — в полнейшей тишине. Вот тут он был на своем месте, за этой кафедрой. Минутами он казался мне совсем незнакомым, профессором, в которого влюбляются аспирантки, без шансов на взаимность, но и мимолетное знакомство лестно. Они его как всегда окружили, я долго ждала у двери.

Я давала интервью какой-то итальянской журналистке за обедом, в Доме кино, Мераб взялся мне помочь с переводом. Все они тогда интересовались женщинами в нашем кино — образами женщин и авторами — женщин-режиссеров было тогда немного, я всех знала. Та журналистка говорила по-русски хуже, чем я по-английски, так что Мераб оказался кстати, переводил, комментировал, не дотронулся до еды — так она его заговорила. И вот они уже болтают по-итальянски, забыв про интервью и про меня. И как я ее понимаю! — перескочить на родной язык, перевести дух с таким приятным, учтивым джентльменом. Сiju, как будто меня тут и нет, наливаюсь злостью. Встаю: «Может, ты сам все ей расскажешь?». Ушла, проветрилась. Терпеть не могу такие эксцессы, никогда себе не позволяла, а тут вдруг... Вспоминаю два или три эпизода, когда «сама себя высекла». Как будто торопилась к решительному разрыву, к объяснению.

Потому что происходило за моей спиной что-то тайное. Узнать бы сразу и не мучиться, а получилось, как в дешевом романе, — затяжная пытка подозрениями и умолчаниями. Роман к тому же был бы «гламурным», из светской жизни, транснациональным.

Кинофестиваль в Турине. Ретроспектива наших фильмов. Группу кинематографистов пригласил большой знаток советского кино и русской литературы — переводчик, киновед и журналист Джованни Бутаффава. Из Парижа к нам в Турин приехал Отар Иоселиани. После большого гулянья с веселым общительным Джанни, знавшим про нас про всех — все, переводившим наши пресс-конференции, получаю вдруг у портье в гостинице записку. Какая-то женщина хочет со мной встретиться. Подпись —

Сильвана Давидович. Пытаюсь вспомнить, спрашиваю у Отара — кто такая? Он как-то смутился, сразу не ответил. А женщина, как следует из записки, уже уехала, мы поздно возвращались в гостиницу. «Спроси лучше у Бутаффары, это его знакомая, из Рима, тоже пишет о кино». А Джанни как раз исчез, в те дни Иосиф Бродский получил Нобелевскую премию, Бутаффава срочно пересылал в редакцию свои переводы Бродского.

Мы встретились с Джанни зимой в Москве. Он пришел ко мне в гости поздно вечером, после просмотров и заседаний. Нам было о чем поболтать. О питерских знакомых — он когда-то стажировался в Ленинграде, о романе Тургенева «Дым» — он перевел роман на итальянский, а я писала экранизацию для «Ленфильма». Он спросил, не хочу ли я поехать в Венецию членом жюри — он может меня рекомендовать. Разумеется, я хотела. Потом он от меня звонил куда-то и возле телефона заметил записную книжку Мераба. Забытую. Заинтересовался: «У вас бывает Мамардашвили? Когда он уехал? Мы были шапочно знакомы...». Он что-то скрывал, улыбался в усы, довольный, что выполнил свою миссию лазутчика. «А Сильвана? Вот она его хорошо знает, кажется, его подруга....».

Позвонила мне как-то утром из Милана знакомая переводчица и стала настойчиво спрашивать, отдыхала ли я осенью в Лидзаве, с Мерабом или без него? «Вы звоните по поручению?» — я спросила. «А вы знаете, что они обручились? Может так быть, что вы можете не знать? Когда вы его видели?» — Она задавала вопросы, как следователь. Я не стала с ней откровенничать. Известие меня потрясло.

А еще я была в Париже, на женском кинофестивале, и заехала к Ирине Емельяновой, которую знала еще со студенческих времен. Мы прогуливались по Парижу, и она мимоходом сказала: «А ты знаешь, Мераб был здесь, и к нему приезжала какая-то дама из Италии».

Такого приступа ревности я не испытывала с юности, лет с двадцати. Волшебные европейские ландшафты только дразнили, разжигали зависть и злость, грешную — понимала, себялюбивую — понимала, несправедливую — сама-то я врала и сочиняла легенды лет десять, а главное — давно его отпустила, не представляла, что мы будем вместе стариться, училась просто дружить.

Но нелегко нам дается наука расставанья.

Позвонила Сенокосовым, Юра быстренько передал трубку Лене, будто сразу догадался, про что я спрошу. Я спросила, правда ли, что Мераб женился или только обручен? Секунда замешательства, и Лена стала бодро утешать: «Да никогда он не

женится, это у нас было, приехала Сильвана, и они обручились — в шутку... А он вам не сказал?». Лена раздражалась — на слухи и сплетни, на ту общую приятельницу из Милана, на «испорченный телефон», в котором им с Юрой приходится участвовать.

И позвонил Мераб — видимо, Лена потребовала, чтобы сам разбирался со своими — не знаю уж, как назвать, подругами, и не ставил друзей в неловкое положение. Сказал, что скоро будет в Москве и все объяснит, не женился, не собирается, а пока не может говорить — маме очень плохо, она уже и не встает.

Летом он приехал и, пока у Сенокосовых шел ремонт, остановился на пару дней у меня. Пока у них пол подсохнет. Я ни о чем не расспрашивала в надежде, что он сам расскажет. Но он был утомлен, тревожен — из-за мамы, из-за Грузии, где наступили совсем плохие времена, и что такое Гамсахурдиа — мало кто знал. Газеты и журналы, московские и европейские, требовали от Мераба разъяснений, и мне даже совестно было на фоне большой политики докучать ему глупой ревностью. Я ждала момента, когда сам расскажет, и я спрошу его кротко, примирительно: «Почему я-то узнаю последней?». И пожурю его по-приятельски.

Однажды в те дни нашего как бы приятельства он у меня тут утром попал в западню. Ко мне ворвалось «Пятое колесо». Была такая успешная питерская телепрограмма — про культуру и искусство застойных времен, про забытые имена. Они просили рассказать про Шпаликова, собирались снимать днем, в Доме кино, но почему-то прямо с утренней «Красной стрелы» завернули ко мне со всей аппаратурой. «На пять минут, мы спешим, нам по дороге» — и вся группа, четверо, расположились с осветительными приборами, с вопросами бесцеремонными — в моей маленькой квартире. Мераб только поднялся, брился и пил чай в спальне, что-то пытался читать, а на самом деле слушал, а потом и поглядывал, как я рассказываю про своего первого мужа Гену Шпаликова — врасплох, сбивчиво и очень волнуясь. Потом я раз десять рассказывала про него для разных программ и фильмов, но «Пятое колесо» было первым. Мераб проявил исключительное самообладание и терпение, я знала, что ему пора уходить, съемка затянулась на два часа, мог бы выбрать момент, но почему-то не уходил, а я почему-то не выгоняла. Он злился — на себя или на меня? Не могла же я сказать: «Уходи, ты мешаешь мне рассказывать про бывшего мужа», я тоже злилась — на себя, потому что они ворвались нахрапом, надо было сразу их выгнать. Навсегда в глазах стоит эта сцена, потому что в ней было что-то окончательное. Совсем недавно, в Тбилиси, он приходил с сестрой Изой на вечер памяти Авербаха. Я пряталась среди

подруг, демонстрировала отдельность и независимость, но чувствовала Мераба спиной — каково ему слушать трогательные речи про Илью? Я, разумеется, не выступала, принимала утешения как вдова. В Грузии умеют утешать в трауре.

Говорят, что чужая душа — потемки, но своя — тем более. Почему я вдруг сказала: «Ну что ж, давай прощаться?». Повод был нелепый. Мераб перекладывал вещи из одной сумки в другую. Привычное занятие в нашей кочевой жизни. Оставил пустую сумку у меня на виду. Я спросила: «Зачем, я же ее тебе подарила». А он думал, что дала во временное пользование. Сценка вспоминается как в замедленном кино, в рапиде. Что-то детское крутится в голове: «Забирай свои игрушки, отдавай мои игрушки»... Лезут в глаза предметы, что он мне когда-то принес, отбывая в Грузию, мелкие подарочки, что привозил или присылал с оказией, вязаные пестрые тапочки с тбилисского рынка. «Бойтесь данайцев, приносящих яйцев» — классический русский каламбур был бы уместен, и встать и собрать эти тапочки, чурчхелу обратно в пакетик. И посмеяться вместе. «Черчхела» или «чурчхела» — до сих пор не знаю, как пишется. А он не силен в русских каламбурах, в падежных перевертышах. Детские песенки у нас были разные.

Но я сижу с окаменевшей улыбкой, говорю заготовленную речь — скорее покаянную, чем обвинительную. И правда — я всегда знала, что эта любовь, как во французской песенке, когда-нибудь кончится. Не спрашивала, с кем он и где, и даже великодушно воображала после его отъезда, как он там женится на хорошей грузинской женщине и как он мне об этом сообщит. И как я его поздравлю.

«А что случилось? — сказал Мераб. — Я вижу — ты изменилась, а в чем дело? Ты мой самый близкий человек, между нами все по-прежнему, во мне ничего не изменилось, а в тебе — какая-то враждебность». Настал момент для главной фразы: «А почему я все узнаю последней, если я самый близкий человек?». Наша улыбчивая беседа перекатилась к Сильване. И к политике. К историческим обстоятельствам. Допроса я не учиняла, поэтому и сейчас нетвердо знаю, что там было на самом деле. Вспоминаю «легенду», что услышала тогда от Мераба. Подруга его училась русскому в Ленинграде, и был когда-то у них роман, потом переписывались. Мераб, когда стал «невыездным» и поднадзорным, придумывал выход — как уехать из страны не беженцем, не диссидентом — навсегда, и лучший выход был — жениться. Тогда многие уезжали вот так — «на прицепе». Но Сильвана была замужем, Давидович — фамилия мужа. Она — якобы — собралась разводиться, но в Италии развод — затяжное

дело, длится лет пять. Муж умер. Она возобновила отношения с Мерабом, приезжала в Тбилиси, потом в Москву. Он несколько запутался в датах, а я не добивалась подробностей. На прямой вопрос — собирается ли он жениться? — отвечал, что, конечно, нет, но — если придется, в крайнем случае... Я совсем запуталась, голова шла кругом, мне даже стало жаль незнакомую итальянку, на которой «придется жениться», если в Грузии станет ему совсем невозможно жить, а к тому шло. Интересно, что он говорил ей, если меня так настойчиво уверял, что «ничего не изменилось». Бедный, добрый Мераб, утешитель. Недаром она сама хлопотала, чтобы меня обезвредить. Ну прямо итальянская «луковая» комедия.

Помню, мы в тот день ехали в машине с подругой. Первое, что я сказала, заводя мотор: «Я прогнала Мераба. Совсем». И сама испугалась. Мила Голубкина знала все мои тайны, но даже ее мудрые советы мне оказались не нужны. Я спешила всем-всем рассказать, что мы расстались с Мерабом. Чтобы не было пути обратно? Чтобы слышали от меня, а не из сплетен? Или просто не могла ни о чем другом говорить? Джанни Бутаффава пришел готовить меня к жюри в Венеции, сверять наши кинопристрастия, и ему я сообщила мимоходом, что все, расстались мы навсегда.

Забавно, что в первый же день фестиваля показали картину Альмодовара «Женщина на грани нервного срыва». Мало кто ее оценил, а я так бурно ее защищала, что склонила женскую половину жюри на свою сторону, и удалось дать приз сценаристке.

Но еще до первого просмотра я увидела наконец Сильвану. Я спускалась по широкой мраморной лестнице, высматривая вниз, в вестибюле, свою переводчицу, и буквально наткнулась на Джанни Бутаффаву. Он был с какой-то очень красивой женщиной. Даже в том эпицентре европейского шика, где слонялись приехавшие на фестиваль знаменитости, журналисты и переводчики, я бы обратила на нее внимание. Джанни представил нас друг другу. Это была сама Сильвана Давидович, проездом в Венеции. Пока мы договаривались, не пойти ли нам в бассейн или сразу на море, она стояла молча и разглядывала меня с ног до головы. Это длилось минут пять.

Я заметила внизу переводчицу, старую знакомую, венецианку питерского происхождения, крикнула: «Изабелла!» — и ринулась к ней, ища спасения. Ей я немедленно рассказала, что я и есть «Женщина на грани нервного срыва», и ей придется очень плотно со мной работать. Фильмы с английскими титрами я могу смотреть сама, а в остальном... плохо говорю по-английски и еще хуже понимаю. Интервью, приемы, бессонный фестивальный

круговорот — мы с ней выдержали с честью, даже английский мой откуда-то из подсознания вырвался, я уже могла общаться без поводыря. Но ночи! Проклятый кондиционер в роскошном «Эксельсиоре», пью таблетки, пью крепкие напитки, ни в одном глазу, и телефон звонит, игривые мужские голоса, услуги дамам, а мне все чудится, что та красавица в зеленой блузке их подсылает подшутить надо мной. Не спала ни разу. Заснула как-то в море на надувном матрасе. Приснились ад и рай. С тех пор знаю, как они выглядят. Однажды увидела в толпе Мераба. Но это был не он. Прыгнула на не свой, платный катер и отдала последние деньги под брезгливую брань морского таксиста — он увидел мои русские документы. Что с нас, нищих, взять?

Вот такая вышла «сладкая жизнь» на грани нервного срыва.

В Москве мне вдруг позвонила Сильвана и попросила помочь ей в одном важном деле, но для этого обязательно надо встретиться, и не могу ли я приехать к ним в офис, она остановилась у знакомого журналиста (я его тоже знала, бывала у него с Мерабом), плохо ориентируется в Москве, и ко мне добираться будет слишком долго, у них назначены еще встречи... Я валялась больная, но вскочила, принарядилась и поехала. От меня требовался совет — кого пригласить в Рим на какой-то — высшего ранга — симпозиум? Это должна быть женщина, желательно писательница или сценаристка. Вот у нее тут списочек, политиков, философов они уже утвердили, а по части кино и литературы — сомневаются. И женщин пока маловато, и лучше какое-нибудь новое лицо, помоложе, а то ездят одни и те же... Я знала весь этот списочек и увидела там фамилию Мамардашвили. Хозяин офиса то участвовал в нашей беседе, то удалялся варить нам кофе, убедившись, что я не собираюсь вцепляться в волосы соперницы. Я не растерялась — предложила новое лицо — сценаристку Надю Кожушаную. Заодно рекомендовала их — с режиссером Ольгой Наруцкой — фильмы. Наде здесь же написали приглашение. Ольга поехала на следующий фестиваль в Венеции с их фильмом «Муж и дочь Тамары Александровны». Выговорить это название итальянцам не удавалось. Я при них записывала крупными буквами. Вероятно, хозяйина апартаментов забавляла пикантная ситуация — мои дрожащие руки и дорогая итальянская одежда. Вырядилась. В остальном — я собой довольна, ни слова о Мерабе мы не проронили, улыбались друг другу с классическим чеховским подтекстом.

Мы виделись с Мерабом еще два раза. Первый — помню, обедали в Доме кино, нам было что друг другу рассказать, у меня еще хватало улыбок. Но дружить — не получалось.

Я всегда ждала его звонка. Зимой я долго болела, выкашливала своего дьявола ревности, гордыни и тоски. Однажды он позвонил от Сенокосовых, а я уже знала, что он не первый день в Москве, и наговорила ему каких-то гадостей, чего простить себе не могу. «Тебя навестить? Может, принести что-нибудь?». Я сказала: «Как хочешь». Забыла, что на это же время назначила встречу режиссеру, заезжему, из Питера. Помню все это как в тумане. Мераб пришел, и вскоре пришел тот режиссер с режиссерской разработкой моего сценария, и мы заговорились, и он все не уходил, а я старалась держаться от них подальше, повязала рот и нос платком, нацепила на опухшие глаза большие очки.

Расставаться по-хорошему, «в щадящем режиме» — никто не умеет. И мы — такие умные — не сумели.

Однажды, когда мы еще любили друг друга — или уже жалели? — после какой-то лекции я вытащила Мераба из круга поклонниц со словами: «Вот видишь, как все тебя любят, особенно женщины...». Точно не помню своей болтовни, но запомнился его грустный комментарий: «Ну да — все, особенно женщины, вопрос только — любят ли?».

Я не видела его полтора года и старалась ничего о нем не слышать, не слушать. Осенью восемьдесят девятого отдыхала в Венеции, в гостях у переводчицы, на острове Лидо. Потом она приезжала с разными итальянскими группами, приезжала Мариолина, в доме всегда было полно гостей, и, как говорится, «все напоминало»...

Надвигались тяжелые времена. Пора было думать, как выживать. Я всю жизнь была свободным художником, хвататься за любую работу не привыкла. Вокруг — случайные люди, мелькание людей и несбыточных планов. Черная осень девяностого года.

Хорошо запомнила тот день — 25 ноября. Провела его в полном одиночестве и самых мрачных мыслях. Вспоминала — 25 ноября Илье делали операцию, я сидела в шестой клинике дотемна, а вышла — в первый снег, в белую густую метель. И никто не звонил в тот день. День рождения Миколы Гнисиюка. Всегда собирались у него в мастерской. Позвонила сама — поздравить. Никого — ни в мастерской, ни дома. Легла пораньше и боролась с бессонницей. Я одна, и теперь так будет всегда, надо привыкать, что ждать уже некого. Вдруг — звонок, ночной. Маша Хржановская сообщила, что Мераб умер, в аэропорту, у Сенокосовых узнаем подробности.

А я каждый день, и в тот день, ждала его звонка.

И теперь, дожив до старости, иногда жду. Спрашиваю —

отвечает. Но это уже из области грузинских утешений — что никто не умирает, пока его помнят.

Его мало кто понимал, но многие помнят — кто видел хоть раз.